



Интервью с Виктором Семеновичем ВАХШТАЙНОМ

«МЫ БЫЛИ “МОРЕМ МОЛОДЫХ”, КОТОРЫЕ “ВЫПОЛЗЛИ ИЗ ТЬМЫ”»

Вахштайн В. С. — окончил факультет психологии Пензенского государственного педагогического университета (2002 г.); MA in sociology, Московская школа социальных и экономических наук, «Шанинка» (2003 г.); кандидат социологических наук (2007), заведующий кафедрой теоретической социологии и эпистемологии РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, профессор факультета социальных наук МВШСЭН; главный редактор журнала «Социология власти». Основные области исследования: социальная теория, социология повседневности, социология образования. Интервью состоялось: сентябрь 2014 г. — январь 2015 г..

Конец января 2015 года — время подведения итогов сделанного в прошлом году и планов на будущее. Безусловно, на это потребуется время, но начать можно сейчас. Причин и поводов — масса, в том числе, и завершившееся в начале года биографическое интервью с Виктором Вахштайном. Его рассказ — о личном, о его пути в социологию, о сделанном им. Но я увидел в результатах нашей беседы, как и в ряде других, проведенных в последний год, подтверждение своих рассуждений о плодотворности поколенческого прочтения истории современного этапа советской / российской социологии. Много в такой методологии историко-наукоеведческого поиска не ясно, но, очевидно, ждать полного прояснения — бессмысленно.

Если иметь, в виду развитие данного исследования по истории советской/российской социологии, то завершившийся недавно 2014 год оказался очень богат событиями; назову три из них.

Первое — этому проекту исполнилось десять лет. Все началось с моей статьи о жизни и творчестве Бориса Андреевича Грушина в летнем выпуске питерского журнала «Телескоп» и осенней заметки там же «История есть, только если она написана». Как показало время, она стала программой моей многолетней работы историко-биографической направленности.

Второе, благодаря ряду обстоятельств, в прошедшем году резко возросло количество проведенных интервью; с 2005 до 2013 годы было проведено и опубликовано 52 интервью. К концу 2014 года их число превысило 80, а еще через месяц вплотную приблизилось к сотне.

Третье обстоятельство: на протяжении 2005–2012 годов моими собеседниками были социологи первых четырех поколений, т.е. те, кто родился до 1958 года. Причины к тому было много, и одна из них — родившиеся позже мне долго казались слишком молодыми в качестве «информаторов» при изучении прошлого нашей науки. Лишь 2013 году было проведено первое интервью с представителем пятой профессионально-возрастной группы (годы рождения: с 1959 до 1970) и начато изучение биографий исследователей, шестого поколения советских / российских социологов; к нему относятся те, кто родился в промежутке между 1971 и 1982 годами. Знакомство с социологами пятого и шестого поколения происходило легко, быстро, к концу 2014 года суммарное количество бесед с представителями двух этих групп приближалось к 30.

Но спустаться ниже по лестнице поколений мне не хотелось, еще в первом полугодии 2014 года я говорил о проблематичности того, что я вообще, и по крайней мере — в ближайшие годы, буду изучать седьмую когорту (родившиеся в интервале 1983–1994 гг.). Боялся исключительной неизвестности для меня этой общности. Когда в начале 1994 года я уезжал из России, старшеньким было 10–11 лет, а самые младшенькие еще и не родились. Возраст социологов этой страты нашего сообщества сейчас варьирует в интервале от 20 лет до 31 года, и у меня было основание считать их «слишком» молодыми для беседы о прожитом и сделанном. Однако в конце августа я решился на такой шаг.

В целом, интерес к поколениям социологов, годы рождения которых приходят на последнюю треть прошлого столетия (точнее, с 1959 по 1994 гг.), возник прежде всего в связи с постепенно складывавшемся пониманием процесса развития послевоенной советской/российской социологии, с осознанием неправомочности, искусственности его «разрыва», неминуемого последующего при анализе и описании лишь жизненных траекторий представителей старших и средних поколений. Когда-то я ввел понятие «толстого настоящего», понимая под этим своего рода «присоединение» к сегодняшнему дню событий и фигур все более удаляющегося прошлого. Именно так я поступал при изучении биографии и творчества Джорджа Гэллапа и смог остановиться лишь опустившись к временам колонизации Америки английскими поселенцами и возникновения первой формы американской демократии — Городского собрания Новой Англии. В частности, при стремлении лучше понять характер психологического образования Гэллапа — по окончании университета он имел Ph.D. по психологии — и при обсуждении темы передачи накапливаемого в науке опыта от одних поколений к другим, мне удалось построить несколько траекторий преемственности, связующих Гэллапа через его преподавателей с одним из основоположников американской психологии Уильямом Джемсом.

В данном исследовании, исходящем из моей концепции второго рождения советской социологии, «утолщение настоящего» можно было осуществлять только за счет перехода от бесед с представителями первых поколений социологов к более поздним. Но это концептуальное допущение, как мне кажется, в логическом отношении верное, было сложно положить в основание практики

интервьюирования. Поначалу моими собеседниками были старшие по возрасту коллеги, потом — мои ровесники или социологи, родившиеся в 1950-х, с ними со всеми мне было легко говорить, и не только потому, что с большинством из них я был знаком, но потому, что знал, чувствовал атмосферу их жизни. В шестом поколении ситуация иная; так, на данный момент проведено 17 интервью с социологами этой страты, но с девятью из них я никогда не встречался. Из семерых респондентов следующей генерации я пока лично знаком лишь с одним.

Но теперь, когда сомнения в правомерности изучения биографий социологов шестого и седьмого (тем более, пятого) поколений рассеялись, когда построена система общения с ними, я понимаю, что все это было необходимо сделать. Иначе, в рамках короткого перечня профессиональных поколений было бы очень сложно изучать многие проблемы динамики науки, другими словами, без интервью с поздними поколениями автоматически снижается ценность информации, полученной от представителей первых когорт. Я бы сказал, что в этом случае значительно ослабевает такая функция истории науки, как соединение — в самых разных формах — поколений ученых.

В 1970 году Владимир Шляпентох, уже многие годы живущий в Америке, опубликовал книгу «Социология для всех», в которой впервые познакомил советскую интеллигенцию с возможностями и методами социологии, интерес к которой и надежды на которую в те годы были очень высокими. Эта книга была заслуженно высоко оценена социологами, работавшими в 70-х, однако для них она не была знаковой, многое в ее содержании было им знакомо. Но два интервью, проведенные в 2014 году, свидетельствуют в пользу того, что книга оказала влияние на формирование нашего социологического сообщества. В начале 1970-х активист-комсомолец, а ныне — академик, директор Института социологии РАН Михаил Горшков (5-е поколение) вспоминает, что в процессе втягивания в работу с молодежью он открыл для себя литературу по проблемам молодежи — В. Т. Лисовского и С. Н. Иконниковой. Но социальная проблематика становилась все более интересной после того, как в руки попала книга В. Шляпентоха «Социология для всех». Появилось углубленное желание узнать, что такое прикладные социологические исследования и как они проводятся».

А вот как описывает свое знакомство с социологией молодой екатеринбургский социолог, профессор Анна Багирова (6-е поколение); она завершала школу и задумывалась о выборе профессии: «социология тогда вдруг стала очень актуальной, «модной» наукой, для поступления надо было сдавать математику (а я ее хорошо знала и любила), учиться можно было в Свердловске, это всего час лета от Магнитогорска. Да, еще был такой факт: знакомая родителей работала социологом на Магнитогорском металлургическом комбинате, и она дала почитать мне несколько книг. Среди них оказалась «Социология для всех» В.Э. Шляпентоха. Пожалуй, то чтение окончательно и направило меня на специальность «Прикладная социология» Уральского государственного университета». Конечно, я написал Шляпентоху о том, что в Екатеринбурге есть социолог, пришедший в науку после чтения его книги, ему было очень приятно, ведь прошло свыше сорока лет после выхода книги в свет, а для Багировой привет от Шляпентоха был почти как послание с Марса. В моем понимании, и это акт соединения поколений.

Поколенческий подход к прошлому-настоящему-будущему отечественной социологии может рассматриваться как процесс становления и смены поколений социологов, это – общая, генеральная задача. Пока же можно сказать одно, все эти поколения формировались в различных социально-политических средах, на разных этапах развития самой социологии. Инструментом такого историко-научно-исследовательского исследования может стать функциональный анализ, т.е. определение и изучение функций каждого из поколений и того, как они осуществлялись.

Тема функций социологических поколений, их ролей в развитии науки стала обсуждаться мною в 2010 году, но тогда в поле моего анализа находились лишь жизненные траектории представителей четырех поколений и количество опрошенных не достигало и полусотни. Сейчас наступает время вернуться к рассмотрению этой темы, ибо уже есть биографические материалы о социологах семи поколений и количество опрошенных удвоилось. На конец января на сайте проекта было размещено 96 интервью, кроме того есть около полудюжины законченных бесед, но еще не вынесенных в Интернет, и примерно десяток почти завершенных интервью. «Почти» означает, что в разговоре с собеседниками уже обсуждаются события его жизни в настоящее время.

Назначение настоящего текста не предполагает сколь-нибудь полного освещения тематики функций поколений, но я назову их (Таблица 1) и слегка аргументирую «имя» функции, которая – как мне кажется – возложена историей, динамикой развития отечественной социологии на шестое поколение

Таблица 1

Главные функции первых семи поколений советской / российской социологии

Поколение	Годы рождения представителей поколения	Кол-во опрошенных	Главная функция
I	1923 – 1934	8	Конституирование социологии как самостоятельной науки
II	Конец 1920-х – начало 1930-х	13	Расширение предметного поля исследований
III	1935 – 1946	25	Развитие эмпирических методов
IV	1947 – 1958	28	Сохранение достигнутого, испытание нового
V	1959 – 1970	18	Обогащение парадигматики и методологии
VI	1971 – 1982	17	Определение характера постсоветской российской социологии
VII	1983 – 1994	7	Вхождение в глобальное социологическое сообщество
Итого		116	

Представления о функциях – следствие макроанализа полувекового развития российской социологии и изучения свыше сотни интервью.

Безусловно, 116 биографий социологов в статистическом отношении не репрезентируют все сложно организованное многопоколенное и дисперсное сообщество советских/российских социологов. Но эта совокупность респонден-

тов — не группа «случайных» людей, это — «лидерское», рискну сказать — «элитное» множество ученых, во многом определявших развитие советской/российской социологии на протяжении более полувека и давших импульс основным трендам в ее динамике на несколько десятилетий вперед. Методология настоящего историко-социологического изыскания, вообще говоря, не требует наличия группы ученых, статистически репрезентирующих ту или иную генеральную совокупность социологов, к тому же я вообще сомневаюсь в возможности построить такую выборку; уж очень неопределенна природа и параметры этого гипотетического генерального множества. Обсуждаемый проект и задумывался, и сложился как совокупность «кейсов», его можно трактовать как монографическое исследование меняющейся во времени реальности с помощью целенаправленно настраиваемой измерительной технологии.

Монографическое социальное исследование валидно, если оно в достаточной полноте выявляет и описывает ситуации, процессы, характерные для изучаемого объектно-предметного пространства. В целом о многих свойствах этого пространства можно судить априори, но действительная картина изучаемого фрагмента социальной реальности проясняется лишь по мере накопления и предварительного рассмотрения информации о его свойствах и динамике. Так, в нашем случае, можно было гипотетически, прибегая к принципам макро историко-наукоедческого анализа, построить серию траекторий вхождения философов, историков, экономистов, математиков, филологов в социологию, но лишь беседы с ними позволили увидеть, как это происходило, благодаря и вопреки чему.

Каждый человек, рассказывая историю своей семьи, описывая процесс ранней социализации, получения образования, начало и развитие собственной карьеры, выстраивает нечто уникальное, единственное. Вместе с тем это уникальное во многом является цепочкой сюжетов, фактов, аргументов, часто встречающихся, повторяющихся в биографических повествованиях его коллег, прежде всего — его ровесников и представителей его социологического поколения. Все эти более или менее часто встречающиеся жизненные коллизии образуют «матрицу событий», или «событийный каркас» большинства биографий.

Внутри этой матрицы располагаются различные событийные зоны. К примеру, есть множество рассказов социологов первого и второго поколений о трудностях и невзгодах пережитых ими в военные годы, есть несколько воспоминаний об их жизни в блокадном Ленинграде. Такова среда, в которой формировались эти когорты, и каждое новое интервью, в котором отражены переживания военного времени, повышает плотность событийной ткани в соответствующей матричной «ячейке», но не увеличивает количество самих ячеек.

Пока количество интервью оставалось небольшим, содержание каждого нового заметно увеличивало количество матричных ячеек, это означало, что результаты анализа собранной информации имели низкую логическую валидность. Но постепенно, с ростом числа бесед новые ячейки в матрице стали появляться все реже, происходило лишь уточнение границ уже существующих. Вот это-то и позволяет говорить о валидности, или логической репрезентативности, собранного массива информации. Основанием для приведенных рассужде-

ний являются выводы и практика статистического последовательного анализа (statistical sequential analysis), предложенного в конце 1940-х американским математиком А. Вальдом.

17 бесед с социологами седьмого поколения, тем более, учитывая высокую гетерогенность его состава, это немного для всестороннего анализа данной совокупности, но это уже — неплохая база для формулировки предварительных выводов, гипотез об ученых этой когорты и о функциях поколения в целом. Тем более, что все, наиболее характерное для каждого поколения, не возникает на «пустом месте». Оно зарождается, а, значит, может быть обнаружено в предыдущих стратах и не исчезает в последующих. Согласно Таблице 1, социологические страты V–VII представлены 42 специалистами, что уже значимо и в статистическом отношении. Более того, главная функция, которой наделено шестое поколение — «Определение характера постсоветской российской социологии», зародилась много раньше, чем данная когорта в принципе могла приступить к ее реализации. В силу своего возраста молодые социологи реально могли включиться в исследовательский процесс лишь в первой половине «нулевых» годов текущего столетия, но к тому времени их старшие коллеги уже около двух десятилетий размышляли о сути, характере, содержании постсоветской социологии.

Им всем помогал опыт, понимание сделанного и стремление к обновлению парадигматики российской социологии, расширению предмета и объекта исследований, обогащению языка науки. Но прошлое не могло не тормозить подобное движение, слишком много было пережито; и в жизни, и в профессиональной деятельности. Главная особенность шестой профессионально–возрастной страты нашего сообщества заключается в том, что первичная социализация большинства из ее представителей проходила в СССР, а ее профессиональное становление — в новой, независимой России. По сути, они стали собственно первыми социологами постперестроечной России. Не могу не отметить, что Виктор Вахштайн, принадлежащий к шестому поколению, сам называет его «первым постсоветским поколением».

И в этом я усматриваю особую близость этого поколения и первого, которое стояло у истоков современного этапа отечественной социологии. Социологам первого призыва предстояло выйти из недр, традиций, императивов, исторического материализма и обосновать существование социологии как самостоятельной науки. На это ушли десятилетия, но к моменту становления шестого поколения они решили эту задачу. Молодые входили уже в новую социологию, хотя не стоит упрощать этот процесс, он — многоаспектный и не заверченный.

12-ти летний интервал формирования поколения социологов — это результат специальной типологической процедуры, включающей в себя предположение о необходимости разделения (при специальном анализе) этой совокупности на более однородные по возрасту группы. Таким образом, внутри двенадцатилетки выделяются четыре «трехлетки». Первая из них — родившиеся в 1971–1973 годах — это «старшая страта» шестого поколения, следующие две трехлетки: 1974–1976 и 1977–1979 — это годы рождения середины, центра, ядра поколения. Те, кто родился в 1980–1982 годах, составляют младшую часть поколения.

Виктор Вахштайн принадлежит к младшей прослойке шестого поколения, и это уже само по себе во многом определило и особенности его социализации, и путь его вхождения в социологию; имеется в виду поле, пространство возможностей, в котором, исходно, он оказался, а позже, — которое он сам активно создавал.

Кто из социологов первых пяти поколений в принципе мог бы (потенциально) пройти такой путь в социологию, как Виктор? Он так начинает свой рассказ: «Середина 90-х годов — пик так называемого еврейского возрождения. Я очень интенсивно включился в эту жизнь в 15 лет и оставался «внутри» до 21-го. А центральным элементом всей этой конструкции — еврейского национального возрождения — были так называемые Бейт-Мидраши: особый формат работы с текстами, разбор изложенных в них аргументов как ходов в шахматной партии. Мы учились видеть идеи как вещи. Так получилось, что практика бейт-мидрашей объединяла трех вечных антагонистов (и самых активных игроков в этом культурном пространстве): ортодоксальных религиозников («датим»), автономистов-традиционалистов («Гиллель») и светских сионистов («Сохнут»). Все читали тексты, все учились с ними работать как с ресурсом собственного воображения и мышления. И не важно, кто во что верил или не верил. Закончилось все, конечно, тем, что на мидраши мы все реже брали религиозные тексты и все больше — теоретические. А потом я уехал в Москву учиться социологии».

Много лет назад я начинал разработку особенностей третьего поколения социологов с анализа биографии Валерия Борисовича Голофаства, который пришел в социологию после многих лет поэтических поисков и обучения на филологическом факультете ЛГУ. Именно тогда я начал задумываться о биографичности социологического творчества и о том, насколько работа с текстами формирует сознание социолога. Несколько лет назад я в аналогичном ключе писал статью о жизни и творчестве Геннадия Семеновича Батыгина, который очень рано стал задумываться о природе художественного текста. Батыгин был одним из учителей Вахштайна, и Виктор поделился своими воспоминаниями о нем. Таким образом, открываются очень заманчивые перспективы изучения особенностей творчества социологов, для которых текст обладал многослойностью смыслов и требовал особого отношения. Пару лет назад я написал небольшое эссе о Голофастве под названием «В нем всегда присутствовала “дисциплина текста”, присущая людям поэзии»; хотел бы, чтобы это было началом обозначенной темы. К сожалению, и Батыгин, и Голофаств, с которыми меня связывали дружеские отношения, ушли из жизни до того, как я приступил к интервьюированию социологов.

Отвечая на мои вопросы, Виктор рассказывает о себе, но в этом повествовании я нахожу много сюжетов и линий, двигаясь из которых и вдоль которых, можно пытаться понять суть, особенности его (шестого) поколения и по-новому увидеть всю поколенческую структуру нашего профессионального сообщества.

Интервью с Виктором Вахштайном позволит узнать его тем, кто лично не знаком с ним, а тем, кто думает, что знает его, понять, знают ли они его...

Вахштайн В. С. : «Мы были “морем молодых”, которые “выползли из тьмы”»

В последнее время я все более интересуюсь предысторией, или предбиографией, моих собеседников... действительно, когда-то я читал, что имя человека — важнейшая информация о нем... действительно, это так... но имя — в широком понимании, не только имя собственное, но, конечно, и оно... много лет назад я спрашивал Жана Терентьевича Тощенко, откуда у него французское имя, Александр Филиппов рассказал историю имени его отца — Фридрих, петербургский социолог Тукумцев поведал о своем имени и отчестве — Будимир Гвидонович... и так далее... Не знаете ли Вы, происхождение Вашей фамилии — Вахштайн, мне кажется, здесь даже второе «а» редкое. Вообще, насколько глубоко Вы знаете историю своей родительской семьи?

Историю своей семьи я знаю довольно хорошо; по отцовской линии чуть лучше, чем по материнской. Фамилия Вахштайн происходит из Австро—Венгрии, где ассимиляция еврейского населения была довольно высокой. Изначально она писалась как «Вахтштайн» («сторожевой камень»), но потом «т» редуцировалась. Почему она не транслитерировалась в более привычное русскому уху «Вахштейн» — отдельная история. После аннексии Северной Буковины и ее присоединения к СССР в 1940 г. старший брат моего деда настоял на сохранении именно такого «спеллинга». Среди вахштайнов было традиционно много раввинов и библиотекарей. Что, в общем-то, не удивительно, семья отца родом из Черновиц — для них это был сакральный город, что-то среднее между еврейским Эльдorado и еврейской же Атлантидой. В нем я провел довольно большую — судя количеству воспоминаний — часть детства. (Другую его часть я провел у второй своей бабушки, в Тбилиси).

Уже во взрослом возрасте я попытался найти — чем же таким отметились Черновцы в научном мире. Ну не может же быть так, чтобы город был настолько заметен в культуре и совсем незаметен в науке. В общем, единственное, что мне удалось найти о судьбоносной роли черновицкого университета (рядом с которым мы жили) в истории социальных наук — это дуэль Йозефа Шумпетера с местным библиотекарем. Шумпетера сослали из Вены на восточную окраину империи, в Черновцы, за бретерство и несносный характер. Он уже через несколько месяцев вызвал на дуэль университетского библиотекаря за то, что тот отказался выдавать книги его студентам. Небезосновательно — книги были дороги, и студенты имели свойство их периодически пропивать.

Виктором же меня называли в честь прадеда — меховщика, театрала, капрала австро-венгерской армии и лидера местной ячейки еврейской социалистической партии «Бунд». Точнее, не Виктором, а Авигдором. Но в еврейских семьях двойное произношение имени (одна версия — для христианского мира, другая — для ближнего круга) всегда было скорее нормой. Виктор-Авигдор, Самуил-Шмуэль, Семен-Шимен... Теперь вот моя дочь, Эрна-Эстер, названная в честь моей бабушки.

Впрочем, о своих предках я могу рассказывать долго — на каком-то этапе для меня стало важно поднять эти биографические пласты, постараться запомнить и опереться на все эти семейные истории. Думаю, такой интерес вообще свойственен «первому постсоветскому поколению».

Да, прав Флоренский и более старые авторы, имя — многое говорит... о многом говорит.

Виктор, Вы пишете: «Ну не может же быть так, чтобы город был настолько заметен в культуре и совсем незаметен в науке». Вы правы, и, допускаю, что Ваш вывод был бы иным, если бы Вы рассматривали науку, которую развивали в Черновцах, к примеру, как продолжение традиций интерпретации Торы. Ведь это самая настоящая философия, семантика... Не знаю, учились ли Вы у Г. С. Батыгина, но он на эту тему много думал и обсуждал ее...

Есть такая гипотеза о влиянии процессов ассимиляции и еврейского просвещения (наскалы) на университетскую науку — мол, люди, поколениями читавшие Тору, вдруг вырвались на оперативный простор европейских университетов. Она всегда вызывала у меня сомнения. (Чтобы в ней усомниться достаточно посмотреть: кто читал Тору, а кто вырвался на оперативный простор.) Просто это две очень разные традиции обращения с миром и текстом, существовавшие порознь большую часть своей истории. Так что наука (пусть даже черновицкая наука начала XX века) — это одно, а иудейская традиция работы с текстом — совсем другое. Между ними, несомненно, есть пересечения и гомологии, но если смотреть на эти интеллектуальные традиции исторически, их нужно рассматривать как непересекающиеся множества.

Впрочем... кто же из нас смотрит на мир исторически?

Я учился у Геннадия Семеновича Батыгина в Шанинке, и наш курс был последним, кто слышал его лекции (он умер за месяц до синопсиса — предзащиты диссертаций). Меня всегда поражало, как ему удается использовать одновременно отсылки к хасидским притчам, греческой «пайдейе», диссертации Роберта Мертона об энтузиастических сектах, этосу научного познания, количественным исследованиям, римскому праву, неокантианству марбургского толка, пролетарской поэзии Гастева и филологии в духе Гаспарова. Вот как?! А для него все это были части единой мировоззренческой конструкции, организованной вокруг базовой метафоры: «мир как текст». Видеть мир сквозь эту метафору для него было естественно и, более того, равнозначно «следованию традиции».

Самое интересное, что его текстоцентричная методологическая установка — свести всю изучаемую область мира к некоторому корпусу прецедентных текстов — как-то легко уживалась с его предельно позитивистским отношением к методической работе. «Мир есть текст» — эта метафора в Батыгинской концептуализации вовсе не предполагала герменевтического продолжения «...и потому нуждается в интерпретации». Ровным счетом наоборот! По Батыгину получалось: «мир есть текст... поэтому, чтобы увидеть мир, нужно собрать корпус прецедентных текстов и провести количественный анализ частотных распределений употребления тех или иных лексем в данном узусе».

Забавно. Я и мой однокурсник по Шанинке Дима Куракин восприняли очень большую часть батыгинской философии познания. Много из того, что мы написали с Куракиным в соавторстве про прикладную эпистемологию социоло-

гического исследования — прямое продолжение наших разговоров с Батыгиным в Шанинке. Но... Настаивая на связи своей методологической позиции с иудейской традицией, Батыгин лукавил.

А может быть, и нет. Просто так странно понимал иудейскую традицию.

Ведь батыгинское поколение — полностью ассимилированное и большую часть жизни не имевшее никакого представления о существовании еврейской традиции — прошло огромный путь ее самостоятельной реконструкции. Они во взрослом возрасте (и при не самых благоприятных обстоятельствах) открывали для себя хасидский мистицизм — даже если не видели различий между хасидами и миснагедами. Они сами учили язык — пусть иногда путали иврит с идишем. Они осваивали комментарии Рамбама — хотя иногда считали Новый завет органической частью Ветхого. Это интеллектуальный подвиг, конечно. Но от такой реконструкции «иудейской традиции» оставалось очень странное ощущение: как от песен еврейского диссидентского подполья 1970-х годов — бардовский фольклор, казачья удаль, политический протест плюс несколько отсылок к Святой земле и два-три слова на иврите. «Иудейская философия» Батыгина явственно отдавала Аристотелем, Кантом, Когеном, русской литературой и учебой на философском факультете МГУ, помноженными на метафору мира как текста.

Мы поколенчески находились в иной ситуации. Середина 90-х годов — пик так называемого еврейского возрождения. Я очень интенсивно включился в эту жизнь в 15 лет и оставался «внутри» до 21-го. А центральным элементом всей этой конструкции — еврейского национального возрождения — были так называемые Бейт-Мидраши: особый формат работы с текстами, разбор изложенных в них аргументов как ходов в шахматной партии. Мы учились видеть идеи как вещи. Так получилось, что практика бейт-мидрашей объединяла трех вечных антагонистов (и самых активных игроков в этом культурном пространстве): ортодоксальных религиозников («датим»), автономистов-традиционалистов («Гиллель») и светских сионистов («Сохнут»). Все читали тексты, все учились с ними работать как с ресурсом собственного воображения и мышления. И не важно, кто во что верил или не верил. Закончилось все, конечно, тем, что на мидраши мы все реже брали религиозные тексты и все больше — теоретические. А потом я уехал в Москву учиться социологии.

Когда Батыгина уже не стало, я начал вести семинары по социальной теории, валидировал свой курс по социологии повседневности... Тут стало понятно, как именно нужно выстроить теоретические семинары — так, как мы работали с текстами на бейт-мидрашах. (Ведь прошло всего два года с того момента, как я вышел из этой культурной среды и включился в другую, научную, московскую.) Отсюда родился формат «Шанинского аналитического чтения». Это просто перенесенный, транспонированный в академическую рамку способ работы с текстами. Он существует в Шанинке уже десять лет, а в последние годы распространился в некоторых других регионах. В конечном итоге, наука — это не производство знания, а производство идей. Бейт-мидраш как метод чтения — просто один из способов такого производства.

Здесь тоже след поколенческих различий. Для Батыгина традиция — предмет интеллектуального освоения. И он берет из нее метафору «мир как текст». Для меня же это была практика — прежде всего, практика определенным образом организованного коллективного чтения. Мир не сводится к тексту,

а текст — к миру. Позднее мы попытались это сформулировать с Андреем Корбутом и Мишей Соколовым в своем манифесте: «Слова не отражают мир и не создают его. Они просто делают его видимым».

Читая, мы реконструируем заложенную в тексте систему различений, ищем его аксиоматические допущения, смотрим, что этот язык дает нам возможность увидеть, о чем позволяет говорить, какие вопросы позволяет поставить и на какие — ответить. Я чувствовал смысл и ценность того, что делал Батыгин, но сам никогда не пытался отнестись к «иудейской традиции», находясь в принципиально ином онтологическом регионе — мире науки. Скорее, задача была в том, чтобы обратить бейт-мидраш, как практику чтения прецедентного текста, на пользу теоретической работе в социологии.

Мне очень интересен Ваш рассказ о Г. С. Батыгине, и не только потому, что это рассказ об учителе, тогда как для меня он был коллегой, с которым меня связывали годы дружеских отношений. Но дело и в том, что в 1994 году я эмигрировал в Америку, и потому видел его лишь в самом начале пути к тем взглядам и к тому стилю общения, о котором Вы рассказали.

Теперь Виктор вернемся к траектории Вашей до московской жизни. Где Вы родились, чем занимаются Ваши родители? Где прошла основная часть Ваших школьных лет? Под руководством кого Вы осваивали систему работы с текстами, характерную для Бейт-Мидраша?

Я родился и прожил большую часть своей жизни в Пензе. Мои родители — журналисты, проработавшие сорок лет на радио (отец) и телевидении (мама). Все то время, которое я не проводил вместе с сестрами у своих бабушек в Черновцах и Тбилиси, я отирался на пензенской телерадиокомпании. Там же впервые начал работать, помогая отцу с прямыми эфирами. До сих пор напряженная атмосфера эфирной студии мне кажется какой-то... домашней что ли.

Мои родители оказались в Пензе по разным, но одинаково курьезным причинам. Мама — дочь военного, служившего в Тбилиси, окончила Тбилисский госуниверситет, факультет журналистики, даже опубликовала что-то о развитии русскоязычной публицистики на Кавказе, и попала под «распределение». Она намеревалась поехать работать поближе к родственникам — в Пермь, но... В общем, Вы уже поняли. 75% населения нашей необъятной родины не различают Пермь и Пензу, мама оказалась в их числе, и вскоре обнаружила себя на пензенском телевидении. Папа мечтал поступить во ВГИК и стать фотографом. (Он до сих пор очень хорошо снимает.) Но родители убедили его поступать в черновицкий университет. В 1964 году. С фамилией Вахштайн. Нет, не так чтобы у отца совсем не было шансов... Но учеба и до университета не была его сильной стороной (в последствии он учился в пяти вузах, из которых окончил один). В итоге, отец оказался в Пензе, в политехническом институте, просто потому что «...лучше ты будешь учиться на инженера там, куда тебя возьмут, чем не учиться там, куда не возьмут... к тому же вот смотри, туда прошел сын дяди Миши и если что, будет, у кого спросить...». Моя бабушка знала шесть языков, писала стихи на немецком, до 80 лет могла перечислить все полотна Ренуара, цитировала на румынском Михая Эминеску и — формально не имея вообще никакого образования (их вместе с дедом выгнали из последнего класса лицея за

участие в коммунистическом подполье) — была самым образованным человеком в моей семье. Однако когда речь заходила о будущем единственного сына превращалась в архетипическую местечковую еврейку.

Сложные отношения между моей семьей и пензенским образованием характеризует один примечательный случай. Русский — не родной язык отца. До семи лет он говорил практически исключительно на идише. (Сейчас у него, конечно, правильный и богатый язык, но это потребовало от него уже во взрослом возрасте уймы усилий и дополнительных занятий.) Поступив в пензенский политех, отец в первую же сессию завалил английский. И вместо передачи пошел на немецкий (которого не знал совсем). Вытянув билет с темой, он без подготовки на своем родном идише очень бегло с выразительной интонацией и жестиком описал все, что требовалось. Комиссия притихла. Переглянулась. Председатель безмолвно поставил «отл.» в зачетку и вполголоса предупредил отца: «Молодой человек, я не знаю, где Вас готовили, но лучше избавьтесь поскорее от этого баварского диалекта — он привлечет к вам ненужное внимание». С третьего курса отца все-таки отчислили, и он пошел работать на завод.

Отношения с родным городом у меня складывались в широком эмоциональном диапазоне: от яростной ненависти до спокойного отвращения. Примирился я с ним только в последние годы (то есть, примерно, лет через десять после того, как оттуда уехал). Сейчас я люблю возвращаться, и жду каждого нового приезда с любопытством — город наконец-то стал мне чужим. Все самое ценное, что было встречено мною в Пензе, Пензу, мягко говоря, недолюбливало. Сейчас я понимаю, какая это роскошь — не идентифицироваться с тем, что тебя окружает. При этом мне страшно везло с учителями. В лицее со мной занимались Светлана Валентиновна и Константин Николаевич Улановы — поэтому свою первую «научную работу по обществознанию» я опубликовал в каком-то пензенском сборнике в 16 лет. Выбирая вуз, пошел по пути наименьшего сопротивления — туда, куда призерам всероссийских олимпиад не нужно было сдавать экзамены. Но выбрал психологию. Она тогда казалась мне настоящей наукой. В университете на парах почти не появлялся и регулярно публиковался в местных сборниках благодаря своему другому учителю — Юрию Ивановичу Кривову. Он читал со мной Парсонса и теории социализации, разбирал тексты экзистенциалистов, настаивал на том, чтобы я больше переводил (кстати, те свои переводы я публикую до сих пор). С 2014 г. Юрий Иванович — мэр моего родного города. Думаю, это большой шаг вперед для Пензы и маленький — для Кривова.

Выше Вы заметили, что оставались «внутри» еврейского возрождения до 21-го года, т.е. уже после окончания школы. Это была форма образования, самообразования, Вы планировали профессионализироваться в этой области?

Да, в синагоге я бывал чаще, чем в университете. Синагогой в Пензе называется «общинный дом», в котором до революции находилось еврейское самоуправление, а сейчас — все еврейские организации от воскресной школы и библиотеки до, собственно, синагоги. Начиная с 11-го класса, мы с друзьями по «Гиллелю» издавали свою литературную газету. Гиллель — студенческое движение

культур-автономистов, т.е. тех, кто верит, что при помощи слегка реформированного (консервативного) иудаизма можно создать насыщенную культурную среду в «странах рассеяния». Частью такого средообразования и был бейт-мидраш.

Позднее, уже курсе на третьем, я вышел из движения, а годом позже получил приглашение из Самары (где находился поволжский центр Еврейского агентства в России) возглавить молодежку «Сохнута» в Пензе. И ушел к бывшим политическим оппонентам. (Если коротко резюмировать основные различия: автономисты верят, что Израиль — это опционально, а иудаизм — обязательно. «Сохнутовцы» — наоборот.) Но тогда, к концу 90-х началу 00-х накал борьбы уже спал, противостояния сионистов и автономистов не наблюдалось. Еврейское агентство «Сохнут» изменило приоритеты — массовая эмиграция закончилась, основная миссия была выполнена — и вся гигантская машинерия «Сохнута» переориентировалась на другие задачи. В первую очередь — просветительские и образовательные. Тогда же в Еврейское агентство стали приходить люди, которые раньше обходили его стороной. В Самаре сложился очень интересный круг тех, кто занимался неформальным образованием — бейт-мидрашами, семинарами, школами, детскими лагерями. Названия наших семинаров того времени: «Память и реальность», «Автор — читатель — герой», «Архитектура и текст», «Четыре поколения израильской литературы», «Тора / Сценарий», «Идеальные города» и т. д. Работа с текстами опять стала связующим элементом.

Нет, никто из нас не хотел профессионализироваться в этой сфере. Хотя те, кто остался в «цевете» (команде) все же профессионализировались и сделали неформальное образование своим основным занятием. Но большинство разбежалось, каждый вынес с собой что-то из этой практики. Кто-то в педагогику, кто-то — в современное искусство. Я — в социальную теорию.

По каким предметам Вы были призером всероссийских олимпиад? Это Улановы толкнули Вас в обществоведение или прежде всего радио? Я не понял, Ю. И. Кривов был Вашим школьным учителем или уже университетским?

Улановы — школьными учителями, Кривов — университетским. Я оканчивал финансово-экономический лицей. В 90-е годы экономика стала идеологией, наши учителя молились на плохо переведенный учебник «Junior Achievement», на месте пионерских организаций в продвинутых школах создавались «бизнес-клубы», а вместо ветеранов на открытые занятия поговорить о своей жизни приглашали успешных бизнесменов. Уроки английского заменялись уроками «Business English». Вместо сочинения на тему «Как я провел лето» мы писали сочинение «Stock market and long-term investments». Этого на тот момент было достаточно, чтобы на всю жизнь невзлюбить экономику.

Улановы преподавали историю и социологию, отличаясь удивительным для Пензы свободомыслием. Вместе со Светланой Валентиновной я поехал в Москву и выиграл что-то такое всероссийское про «граждановедение». Однако нет, в социологию я тогда пойти не решился — мне хотелось заниматься настоящей экспериментальной наукой, открывать законы человеческого поведения. С 9-го класса я зачитывался книжкой Фресса и Пиаже «Экспериментальная психология», ставил эксперименты на (бедных) живших у нас кошках. Мой роман с психологией длился пять лет в университете. (Точнее, в библиотеке.) Собственно, уже там за меня взялся Кривов. На втором курсе включил в свой проект РГНФ

(что для пензенского университета было чем-то неслыханным) и намекнул, что мне все же стоит заняться нормальной теоретической работой. Поэтому решение уехать учиться после университета я принял сравнительно рано с его подачи. Но о социологии тогда речь еще не шла. Этот выбор я сделал уже позднее – познакомившись с Шанинкой.

Вы были очень глубоко вовлечены в еврейскую культуру, изучали иврит, не думали об эмиграции в Израиль?

Конечно, думал. И до сих пор чувствую себя в Израиле куда больше дома, чем в Испании (которую последний год считаю своим основным портом приписки). Но я с 9-го класса знал, что буду заниматься наукой, хотя и понятия не имел – какой. В Израиле же я не нашел ничего, что было бы мне интересно в научном плане. И чем ближе я знакомился с израильской наукой позднее, тем больше убеждался в правильности своего выбора.

Жаль, что так получилось. В США в колледже я «брал» курс Investments и изучал методологию Mutual Funds (в России их называют Паевыми Фондами), думаю, если бы мне пришлось читать эту тему школьникам, половина пошла бы в брокеры. Тогда просто российские учителя не знали «эту материю».

Сначала короткий вопрос (?), что значит в данном случае Испания как порт приписки?

Да, жаль не Вы у нас преподавали экономику...

Испания – это долгая история, которую сейчас не хочется рассказывать с конца. Просто год назад завертелась череда забавных и нелепейших событий (связанных с публикацией данных нашего исследования «Евробарометр в России»), завершившаяся, впрочем, ко всеобщему удовольствию моим отъездом в южную Валенсию. Там за последний год я провел 6 месяцев, остальные – в Манчестере и других интересных местах. Сейчас на три месяца приехал в Москву, но к новому году планирую вернуться домой, в Аликанте.

По какому направлению психологии Вы заканчивали университет, делали дипломное исследование?

На первых курсах я планировал заниматься экспериментальной наукой (что довольно наивно звучит в условиях Пензы конца 90-х), потом переключился на клиническую психодиагностику (благо, практика в психиатрической клинике быстро избавила меня от иллюзий), на последних курсах занимался исключительно теоретической психологией, старался показать, как социально-психологическая теория может ответить на вопросы, поставленные экзистенц-философией.

Тогда же у меня появилась идея совместить приятное с полезным. В дипломе (а он, по старой советской традиции, не мог быть чисто теоретическим) я пообещал исследовать связь между ценностными ориентациями и локусом контроля. Но делать это на своих сокамерниках по вузу было бы тратой времени. Поэтому я поехал на полгода в Штаты, в Йеллоустонский национальный парк работать поваром в ресторане. Так что первое мое самостоятельное исследование получилось кросс-культурным: мы весь день «стояли в лайне» (моя официальная позиция называлась «Line cook II»), потом еще несколько часов тихо выпивали у себя в кают-компании (тихо – потому что большинству не было 21-го), а потом я доставал опросники Роттера и Рокича... Чудом уцелел.

Но, конечно, самым ценным в той поездке были не дурацкие психологические тесты, а удивительная возможность наблюдать, как гигантская отлаженная корпоративная машина существует за счет множества локальных хитростей и уловок. Мои друзья-повара обязаны были на время обеденного перерыва «выходить из системы» (check out), чтобы им не платили за то время, что они обедают. Наши, разумеется, никогда этого не делали. Поэтому машина автоматически вычитала у них час рабочего времени, полагая, что они «просто забыли». Когда это стало ясно через месяц, средняя продолжительность обеда у сотрудников упала до 20 минут (они честно выходили из системы на 20 минут, а обедали все равно на рабочем месте в рабочее время). Аналогичная история была у официантов. Они должны декларировать свои чаевые и платить с них налоги. Если их не декларировать совсем, HR вас уволит – потому что если вам не платят чаевых, значит вы плохой официант. «Минимально приемлемый порог» вновь был найден очень быстро. Выяснилось, что официант за вечернюю смену зарабатывает в среднем от 15 до 20 долларов.

Я фиксировал в дневнике все эти мелкие ходы, тактики, уклонения, поражаюсь параллельности сюжетов поведения у поваров, официантов, менеджеров, хостов. А спустя несколько лет прочитал у Гарфинкеля «...убрать все эти незаметные нерелексивные практики, чтобы посмотреть, на чем держится социальный порядок – все равно, что убрать стены, дабы увидеть, на чем держится крыша» и понял, что до поступления в Шанинку был стихийным этнометодологом.

Диплом я защитил легко. В кулуарах после защиты мне задали только один вопрос – когда я уже, наконец, уеду из города.

Я дважды погружался в психологию. В конце 1960-х помогал ленинградским психологам из коллективов Б. Г. Ананьева и Е. С. Кузьмина в математической обработке экспериментальных материалов, в 1970 г. – защитил кандидатскую по психологии. И в начале этого века, когда изучал биографию Джорджа Гэллапа, писал в университет Айовы, где он учился, получил его личное дело со всеми изучавшимися им предметами, читал книги его преподавателей, которые обучались у Фехнера, Гельмгольца. И вообще Гэллап и первые американские полстеры вышли не из социологов, как в России, а из психологов, в их понимании, они изучали установки. Так что в Шанинке Вы в принципе могли во всю использовать и свои знания в области экспериментальной психологии, но Вас уже потянуло в этнометодологию. Сегодня, по прошествии более десятилетия, в чем Вы видите причины возникновения Вашего интереса к этой методологии?

Я Вам страшно завидую! Вы застали Ленинградскую школу, о которой я только слышал...

Исследование установок – проверенный мост между двумя дисциплинами. Сколько диверсантов пересекли по нему междисциплинарную границу (причем, в обоих направлениях). Благодаря исследованиям установок масса социологов 60-х годов сделали себе репутацию в психологии (взять того же Владимира Александровича Ядова с его «Диспозиционной концепцией регуляции социального поведения»). Правда, с парадоксом Лапьера им справиться так и не удалось. Мой вступительный реферат в Шанинку был отчасти об этом – почему в принципе невозможно полагаться ни на какие (даже самые точные) измере-

ния установок, если исходить из допущения, что они действительно позволяют «предсказать» поведение. Пришлось искать другие пути трансфера в социологию. Точнее, я их не искал — они меня нашли.

Если честно, я вовсе не хотел переквалифицироваться. Это не было осознанное решение: «Пойду в социологи!» Я мог бы и до сих пор оставаться психологом, а все заинтересовавшие меня тогда повседневные действия объяснял бы психологическими механизмами и диспозициями, даже не зная слов вроде «этнометодология» или «фрейм-анализ». Моя последняя пензенская публикация — о психологической природе феномена трансценденции. (Смешно, как некоторые темы не отпускают и возвращаются после долгого перерыва, даже если ты за этот перерыв успел сменить дисциплину, школу и город.)

После университета я поехал в МГУ, в надежде поступить в аспирантуру на кафедру психологии личности к А. Г. Асмолову. Но по дороге свернул в Шанинку, на день открытых дверей. Там я увидел две вещи:

а) библиотеку (в начале 2000-х библиотека Шанинки производила неизгладимое впечатление на неискушенные умы — настоящая библиотека настоящего английского университета);

б) А. Ф. Филиппова, на тот момент декана «шанинской» социологии.

В общем, в этот день все стало на свои места. Я понял, что мне нужно продолжать заниматься фундаментальной теорией. Потом отдал себе отчет в том, что мне все равно, какой теорией заниматься — социологической или психологической. Я решил, что должен учиться здесь — любой ценой, в этой библиотеке, у этого человека. Пакет документов для отдела аспирантуры МГУ полетел в корзину. И я сел писать реферат про установки и социальное поведение. А через месяц уже переехал в Москву.

Поначалу, я думал, что смогу использовать свой психологический «бэкграунд». Выбирал темы, в которых можно было пользоваться ресурсом прежнего образования. (Именно так я начал заниматься Ирвингом Гофманом и фрейм-анализом, о котором, правда, первый раз услышал не в университете, а на одном из бейт-мидрашей.) Но очень быстро стало понятно — на этой дистанции нет «шорт-катов». Социология — это язык (той же языковой семьи, что и психология, но явно иной языковой группы). Его придется осваивать с нуля. А когда это случилось, какие-то темы, над которыми я думал в университете — природа трансценденции, повседневная рутинизация, ситуация как структурный контекст действия — вернулись в социологическом переводе. Но этому предшествовал год радикального отказа от всего, чем я занимался предыдущие пять лет, и воинствующий антипсихологизм. С психологией получилось как с родным городом. Она должна была стать достаточно чужой, чтобы снова стать интересной.

В каком году Вы поступили в Шанинку, кто кроме Г. С. Батыгина и А. Ф. Филиппова преподавал Вам социологические курсы? Что на Вас производило большее впечатление: новые темы, концепции, имена или система преподавания, открытость, приглашение к дискуссиям? Кто еще одновременно (год-два раньше или позже) учился социологии? Есть ли у нас сегодня право говорить, что происходило формирование «шанинской» социологической школы?

Я переехал в Шанинку осенью 2002-го года. Первый год жил там же — в общежитии на кампусе. Основной круг преподавателей включал в себя А. Ф. Филиппова (Социологическая теория), Г. С. Батыгина (Методология исследования), В. В. Радаева (Социальная стратификация, Экономическая социология). Опционально я слушал курсы Т. И. Заславской, В. А. Ядова, Л. М. Дробижевой, С. П. Баньковской.

Сложно сказать, что производило наибольшее впечатление. Мы были «морем молодых», которые «выползли из тьмы». Кто-то из «тьмы» своих регионов, кто-то из «тьмы» 90-х. Дима Куракин, окончивший МГУ тремя годами ранее, успел поработать в диком риэлтерском бизнесе (в частности, ездил с битой на «разборки») и пришел в Шанинку читать книги. Для меня это было первое вхождение в академический мир. Атмосфера неангажированного научного поиска. Абсолютная свобода выбора курсов и исследовательских тем. Интенсивное общение на семинарах. Постоянное чтение (я никогда столько не читал ни до, ни, увы, после). Постоянная погруженность в тексты — в Шанинке нет устных экзаменов или тестов, единственная форма отчетности: научная статья.

Спускаясь после пар в столовую, вы видели «кружки»: группа студентов вокруг Крыштановского в одном углу, группа студентов вокруг Филиппова — в другом. Преподаватели уходили, студенты оставались и образовывали общий круг. Тогда в учебных заведениях еще не запретили продавать алкоголь. В мае мы все поехали на море — на турбазу, где работала мама одной из наших однокурсниц. В поезде обсуждалась теорема Томаса, тонкости перевода немецкого «Gemeinschaft», логистическая регрессия, проблема детей-маугли у Дюркгейма, преимущества марбургского неокантианства перед баденским, ограниченность метафоры «поведение вопроса» применительно к анализу опросного инструментария... В конце поездки проводники в нашем плацкартном вагоне стали нас демонстративно игнорировать. (Они явно предпочитали баденское неокантианство марбургскому.) На турбазе я как-то заснул у костра под разговоры о социальной организации жизни енотов и проснулся утром — когда Куракин с однокурсницами уже разработали теорию нового речевого акта («енотатив», акт социального конструирования енота).

Вообще о Шанинке конца 90-х — начала 00-х довольно много написано и будет написано еще больше. Это уже легенда. Недавно я поднял свои конспекты, аудиозаписи лекций, сделанные Митей Куракиным, эссе своих однокурсников... И понял ужасную вещь: моя память все переокрасила в неоправданно радужные тона. Будем откровенны: мы были дико мотивированными, плохо образованными и зачастую откровенно глупыми студентами. Дети-маугли по Дюркгейму. Те, кто учились после нас — гораздо умнее и несоизмеримо лучше подготовлены. Эссе, за которые мы получали 70 и выше (британский эквивалент «пятерки»), сегодня не получили бы и 60-ти. Лекции наших учителей носили откровенно просветительский характер и были ориентированы на заведомых дикарей, читающих на английском по слогам. Да и сама Шанинка была именно просветительской институцией, которая по условию Дж. Сороса не могла учить москвичей бесплатно и давала стипендии только амбициозной молодежи из регионов. Но в этом и был драйв — остаточный драйв 90-х. Вся школа затачивалась Теодором Шаниным под просвещение и формирование нового поколения уче-

ных. Именно так и было записано в миссии: «нового поколения». В единственном числе. Мне просто повезло стать частью этого поколения, которое и писало уже следующую повестку дня.

Поколенческий драйв Шанинки станет чуть понятнее, если мы посмотрим на демографические тренды постсоветской науки. Сегодня очень сложно найти социолога 45-ти лет. Либо 27–37, либо 55+ Потому что в 90-е воспроизводство научных кадров прервалось, аспирантуры опустели. Все, кто мог, или уехали заниматься наукой за рубеж, или предпочли заняться чем-то другим в России. Возник поколенческий разрыв. Те социологические имена из поколения 27–37, которые мы слышим сейчас, – это почти сплошь выпускники Шанинки.

Из тех, кто остался в науке, со мной учились Дима Куракин и Лера Малик. Тремя годами ранее – Дмитрий Рогозин, Денис Стребков и Роман Абрамов. Годом раньше – Тагир Калимуллин, Зоя Котельникова и Иван Забаев. Двумя годами позже – Григорий Юдин. Еще чуть позже прошел через Шанинку один из самых ярких социологов моего поколения – Андрей Корбут. Мои ровесники, кстати, продолжают составлять значимую группу шанинских абитуриентов и выпускников. Из недавних – Антон Смолькин и Иван Напреенко. Из старших коллег, пришедших в Шанинку учиться, уже будучи состоявшимися учеными – Алексей Титков. А дальше началось новое поколение, антропологически иное, но не менее интересное (Наиль Фархатдинов, Павел Степанцов, Игорь Чириков, Константин Фурсов, Евгений Варшавер, Тимур Османов, Василий Кузьминов, Кирилл Пузанов – всех достойных упоминания я, к сожалению, сейчас не перечислю).

Была ли шанинская школа школой? Если понимать под школой единство аксиоматики и общность «когнитивного стиля», то нет, не была. Уникальность Шанинки была в том, что сразу несколько очень сильных и очень разных ученых делили друг с другом общее пространство и общих студентов. Каждый из них создавал свой «кружок». Но школой это так и не стало, ни тогда, ни сейчас. Сегодня Шанинка – это интеллектуальный клуб, объединяющий несколько поколений ученых. Но все же школы суть нечто большее, чем социальное, институциональное или поколенческое явление. Они существуют в мире идей, а Шанинка – просто дверь в этот мир.

Сегодня утром получил очередной ответ от одного из моих собеседников: «Извините за отступление, Борис Зусманович, множество раз брали интервью у других, брали интервью у меня, но только сейчас прочувствовал, что такое «серийность» в Лумановской интерпретации новостных сюжетов. Ожидание вопросов и написание ответов уже само по себе приобретает форму самостоятельности нарратива. В общем, в ходе интервью испытываешь интересные ощущения». Как прокомментируете?

Да, очень похожие ощущения. Подобное общение по переписке дает возможность построения совсем иного нарратива. Я никогда не верил в идею внутреннего диалога, но в подобной беседе грань между внутренним и внешним стирается, получается такой диалоговый дневник. Новый для меня жанр – его рефлексия еще ждет своего часа...

Осень 2002 года, Г. С. Батыгину – 51 год, А. Ф. Филиппову – 44, В. В. Радаеву – 41. Молодые преподаватели отбирали себе подготовленных студентов, с которыми они могли бы (потенциально) обсуждать «наболевшее». Это создавало предпосылки

для открытой, активной формы обучения, да и модель обучения, предложенная Теодором Шаниным, была рассчитана именно на это. Выше Вы немного рассказали о характере и содержании общения с Батыгиным, он и стал Вашим ментором? Под чьим руководством Вы делали дипломное исследование, чему оно было посвящено?

Сейчас ностальгия и моя многолетняя лояльность Шанинке опять все испортят... Но я постараюсь быть объективным.

Недавно с Павлом Степанцовым и Василием Кузьминовым мы провели исследование политических режимов российских университетов – смотрели, как распределяются разные типы ресурсов, как принимаются решения, как устроена внутренняя и внешняя коммуникация. Вот если оттолкнуться от этой метафоры – политического режима – Шанинка начала 00-х была меритократической республикой, во главе которой (на всех этажах) стояли харизматические лидеры. У руля – главный харизматик, Теодор Шанин. О нем я еще не раз вспомню, но, будучи студентами, мы его видели всего несколько раз – в мой год он уже давно не преподавал. Факультет управлялся «сообществом равных» – еще четыре харизматичных лидера: Филиппов, Батыгин, Радаев и Крыштановский. Влияние первых трех было огромно и тотально, как ковровые бомбардировки. Александр Олегович читал элективный курс и поражал аудиторию точно.

Уже окончив Школу, я выяснил, насколько там все было непросто в отношениях внутри «харизматической четверки». Однако на поверхности ничего этого видно не было. Конечно, преподаватели конкурировали за самых перспективных студентов, а студенты – за внимание «своих», наиболее значимых авторитетов. Ведь на факультете училось всего 20 человек, а элективные курсы читались для пяти-шести.

Я пошел в Шанинку из-за Филиппова, но в первые полгода попал под влияние всех трех основных преподавателей. Это был пик их научной и исследовательской карьеры. Только Батыгин был уже полностью состоявшимся ученым (и потому уделял неформальному общению со студентами больше времени), Радаев строил свою школу социологии рынков (в каждом шанинском выпуске есть по когорте его учеников), Филиппов заканчивал работу над одним большим теоретическим проектом, социологией пространства, и начинал следующий – теорию социальных событий. Они не учили – они показывали, как должен работать ученый.

Влияние Батыгина было очень сильным, но нет, он не был моим учителем. Хотя самые высокие оценки в Шанинке я получил за его курс. Увы, я так и не заговорил на его языке, хотя мы с однокурсниками регулярно сбегали на его семинары в ИС РАН. Что-то остановило – вероятно, неготовность принять его аксиоматику, которая строилась на метафоре «мир как текст». Мы несколько раз подолгу общались в библиотеке. Я заговаривал о концептуализации пространства в социологии, и он тут же переформулировал это в категориях «пространство как текст». То же последовательно произошло с темами идентичности, архитектуры и утопии. Сошлись мы в итоге на почве общей любви к Ирвингу Гофману. Наши диалоги напоминали классические хасидские притчи:

Я: Ребе, почему деревья растут корнями вниз и ветвями вверх?

Батыгин: Нельзя ответить на этот вопрос, не посадив дерева. Вот тебе лопата.

Я: Ребе, какой чудесный инструмент! Почему его следует держать древком вверх, а штыком вниз?

Батыгин: Нельзя ответить на этот вопрос, не разобравшись, как крепится древко к штыку. Вот тебе отвертка.

Я: Ребе! Отвертка — это удивительно! Почему отвертки делятся на крестообразные и плоские? При каких условиях мы можем помыслить, например, шестигранную отвертку?

На месте Батыгина я бы уже давно ответил: «Вот тебе стена — убей себя об нее». Но Геннадий Семенович был терпелив. Он не ответил ни на один из моих вопросов, предпочитая переформулировать их до неузнаваемости. И просто снимал с полок книги, которые я исправно читал.

Радаев был полной противоположностью Батыгина. У него всегда все было четко по расписанию. Он вставал в 5 утра, чтобы приехать в Шанинку до пробок, два часа читал приготовленную на день литературу, в 9.00 уже начинал семинар. Я никогда не встречал настолько дисциплинированного человека. Он и учил этому — писать, очень жестко структурируя свои тексты, постоянно работать над композицией. Радаев был единственным преподавателем, который мог взять у администратора факультета телефоны студентов и обзвонить их в 10 вечера, чтобы дать фидбэк по эссе: «Хороший текст, но слишком аморфный... Поставьте более четко проблему и, пожалуйста, не на третьей странице, а на первой... К чему вы во второй главе сделали это отступление? Лучше убрать — потом про это напишете другое эссе. Здесь очень сильно не хватает сюжета с Z... Вам надо прочесть вот это и вот это — если сочтете релевантным, развеите это вот в этой части... А в остальном — поздравляю, хорошая работа». Вы вешали трубку уже другим — обнадеженным и поверившим в свои силы человеком — а потом смотрели на заметки, и понимали, что текст нужно переписать от первого до последнего предложения.

Радаев ничего не делал понарошку, он всегда работал в полный контакт и требовал того же. Помню, что по условию его курса нужно было написать эссе и распечатать его перед экзаменом. Пока слушатели писали экзамен, Радаев читал их тексты. Один из самых толковых студентов, учившихся после нас (он потом уехал в Штаты и канул в американской системе образования), подошел к ВВР и сказал что-то вроде: «простите, я не успел распечатать / принтер сломался / будильник не прозвонил / я все исправлю»... Батыгин, который превратил профанацию формальных академических правил игры в своего рода спорт, тут же ответил бы: «эссе? а разве нужно было что-то распечатать? не берите в голову!». Радаев просто отвернулся и ушел.

Где-то в середине года Вадим Валерьевич предложил опубликовать мое эссе в качестве статьи в своем журнале — «Экономическая социология». Это была моя первая московская публикация: к теории резидентальной стратификации. Если бы наши сферы академических интересов хоть сколько-нибудь пересекались, я столкнулся бы с непреодолимым искушением — писать у Радаева. Но для этого нужно было разбираться в экономической социологии. А любое словосочетание, включающее в себя слово «экономический», в тот момент вызывало у меня приступ агорафобии.

Впрочем, я всегда знал, что писать диссертацию буду у Филиппова. Я поступил в Школу, чтобы заниматься теорией и в течение года старательно начитывал всю необходимую литературу, ставил теоретический язык. К Филиппову я пришел с проектом магистерской диссертации: исследовать пространственную организацию классических утопий — от платоновской Атлантиды до «Города Солнца» Кампанеллы. «Это замечательный исследовательский проект! — сказал Александр Фридрихович, который как раз закончил книжку «Теоретические основания социологии пространства» — Дерзайте!». Через месяц я приполз с повинной. Проблема в том, что мой интерес к идеальным пространствам и утопическому воображению вышел из наших семинаров в Самаре. Но одно дело — разбирать канонические тексты и чертежи, а другое — создавать теоретический метаязык говорения о связи воображения и пространства. Полный провал. Никакого метаязыка не получилось. Я решил, что просто еще не готов справиться с этой проблемой. Филиппов сказал: «Ну конечно! А что Вы думали, можно вот так вот просто замахнуться на такую серьезную тему?».

В итоге я написал магистерскую диссертацию по социологии пространства — о связи воображения, памяти и места, о структуре утопических сообществ, о тех, кто приходит раньше, и тех, кто приходит позже, о Макондо Маркеса и Янки-Сити Уорнера. На этом тексте учеба для меня закончилась.

Это очень хорошо, что Вы вспомнили о Саше Крыштановском, сложная ему выпала судьба, а человек он был светлый, жизнеутверждающий и честно относился к делу...

Виктор, меня вот что интересует, в какой мере в Шанинке студентов знакомили с работами советских социологов? Батыгин как редактор социологических журналов, инициатор подготовки книги по истории советской социологии и автор вводной главы по советской социологии, вышедшей под редакцией В. А. Ядова, прекрасно знал эту тему. Учили ли вас читать советские социологические тексты, в которых обязательным было признание первенства Маркса и Энгельса в разработке главных проблем социологии, цитирование партийных документов, говорили ли вам о том, что авторам книг и статей запрещали использовать многие иностранные термины, слова, признавать, скажем, заслуги Питирима Сорокина или вспоминать полевые исследования Владимира Шляпентоха? Говорили ли вам о жесточайшей цензуре и самоцензуре?

Здесь важно не совершить ошибки ложной контекстуализации: шанинский факультет имел очень опосредованное отношение к советской социологии. Зная о том, что Теодор был другом Юрия Левады, что Шанинка начиналась с Интерцентра (отцами-основателями которого были Шанин и Заславская), что в Школе преподавал Ядов, а Гудков и Дубин регулярно участвовали в симпозиуме «Пути России», нужно помнить, что никто из перечисленных мэтров не имел прямого отношения к нашему факультету. Парадоксально, но факт. В Шанинке уживались две поколенчески очень разные социологии. Одна — народническая, крестьяноведческая, политически ангажированная, либеральная. Ее сосредоточием был симпозиум «Пути России» и исследовательские семинары Интерцентра. Вторая — академическая, сциентистская, теоретическая, индифферентная по отношению к проблемам России, погруженная в актуальные западные дискуссии или в почтенную философскую классику. Собственно, она и «дер-

жала» факультет. Батыгин, Филиппов, Радаев и Крыштановский представляли как раз вторую группу. Пропась отделяла их от Левады, Гудкова, Заславской или Ядова.

Когда мы пишем летопись, нам хочется видеть преемственность. Но ее не было. То есть ее не просто «не было видно». Некоторые выпускники Шанинки давних лет, ушедшие после Школы в аспирантуру ИСРАНа, рисуют идиллическую картину: мол, в Школе преподавали все вместе — левадовцы и фомовцы, Заславская и Батыгин, Ядов и Филиппов... И диссиденты-шестидесятники возлежали перед аудиторией вместе с методологами-позитивистами аки волки с ягнятами. Это трусость памяти: людям хочется верить, что между разными частями их жизни нет противоречий. Но если бы Ядов и Филиппов просто случайно оказались в одной шанинской аудитории — произошла бы взаимная аннигиляция. И это касается не только их двоих.

Вы говорите Батыгин — историк советской социологии, и это, конечно, правда. Мы все помним ту книгу с интервью, да и поколенчески он был ближе к своим информантам. Но его отношение к изучаемому периоду и поколению было почти энтомологическим. Батыгин — последовательный сциентист. Если он когда-то и цитировал своих информантов, то в неизменно саркастическом ключе — политически ангажированная социология 60–80-х была для него не наукой, а объектом изучения. («Посмотрите, как трогательно и комично этот экземпляр принимает боевую стойку и цитирует Парсонса в политической баталии... В действительности он бьется не за истину, а за возможность размножения».) Изучать их — было его способом провести разделительную черту между собой и ими.

Филиппову не требовалось и такого усилия. Он считал, что пропасть между ним и советскими социологами пролегла в тот момент, когда он уехал учиться в Билефельд к Луману. И хотя он никогда не переставал считать себя учеником Ю. Н. Давыдова в его отношении к советской (и особенно ранней постсоветской) социологии сквозило плохо скрываемое экзистенциальное отвращение. Которое он, как вежливый человек, в публичных выступлениях всегда старался замаскировать нарочитой политкорректностью. Впрочем, дважды его прорывало, и он высказывал все, что думает о старших товарищах в своих статьях о советской социологии. Чтобы не было двусмысленности: советскими для него были абсолютно все — особенно антисоветски настроенные — социологи-шестидесятники и их наследники.

Радаев же (самый молодой из тройки учителей) и вовсе классический образчик шанинского социологического факультета. Он был полностью погружен в дискуссию с западными коллегами, которые составляли для него релевантный круг собеседников. Старшие товарищи почитались и регулярно упоминались, но... Если Вы положите рядом радаевские тексты по экономической социологии и статьи представителей «новосибирской школы», Вы сразу почувствуете ту разницу, о которой я говорю. Это не тексты двух разных поколений. Это порождения двух разных культур.

И в тоже время — благодаря шанинско-манчестерской системе — никакого конфликта цивилизаций, никакой войны миров. Мы слушали обязательные курсы у Филиппова, Батыгина, Радаева и переходили на элективные курсы к Ядову, Заславской, Дробужековой. Первые возвели стену между собой и совет-

ско-постсоветской социологией, вторые... а вторые и были советско-постсоветской социологией. Я исключительно тепло отношусь к Л. М. Дробижевой (от нее я очень много узнал о «школе Бромлея»), с восторженным удивлением — к В. А. Ядову, и сохранил почтительное отношение к Т. И. Заславской (примерно за полгода до ее смерти мы были вдвоем с Теодором у нее в больнице). Есть какой-то мощный поколенческий драйв в том, как они рассказывают о своей борьбе в 60–70-е гг. — о той самой цензуре и самоцензуре. Но Ядов на лекциях всерьез обсуждал маниакально-депрессивный психоз как объяснение «циклов российской жизни» (для советского социолога вообще нормально было поговорить со студентами о загадках русского национального характера). А Татьяна Ивановна настоятельно просила нас ознакомиться с вершиной творчества новосибирской школы социологии — теорией институциональных матриц Кирдиной и Бессоновой.

Мне был 21 год. Когда я — после лекций Филиппова, Батыгина и Радаева — прочитал теорию институциональных матриц... Мне вдруг открылось страшное. И те и другие не могут быть одновременно учеными. То есть, либо Батыгин с Филипповым, либо институциональные матрицы. А еще я понял, что все ведь прекрасно видят это безумие — видят, что это феерический псевдонаучный бред, порожденный отсутствием доступа к нормальным источникам, репрессивной политической ситуацией тридцатилетней давности и индивидуальными психическими отклонениями. Что нет принципиальной качественной разницы между институциональными матрицами, социетальными трансформациями и какой-нибудь самопальной «социологией жизненных сил» самобытного барнаульского самодума С. Григорьева, которому в Москве руку может подать разве что Добренев. Но все будут молчать, и отдавать дань уважения. Потому что люди-то хорошие и достойные, на их долю такое выпало, что не приведи Б-г, и они все же остались достойными, хорошими людьми. А если тебе этого мало — иди, читай своего Гофмана, пока есть такая возможность, и не докапывайся до других. Им, может быть, и так немного осталось.

Я тогда полностью принял эту этическую позицию. Когда после Шанинки я поступил в аспирантуру, чтобы писать диссертацию про Гофмана, Татьяна Ивановна Заславская остановила меня в коридоре и спросила: «Как Вы можете заниматься Гофманом, когда российское общество так стремительно меняется?! Вот его надо изучать, а не Гофмана!». И мне стало стыдно. Я почувствовал себя ренегатом, дезертиром с идеологического фронта. А потом испугался, что, кажется, шаткое равновесие между двумя поколенческими мирами, сосуществующими в Шанинке, может быть нарушено в любой момент. Но оно просуществовало примерно до 2006-го, и окончательно рухнуло только в 2009–2010-м.

В начале нашей беседы Вы немного рассказали о Г. С. Батыгине. Несколько выше Вы отметили, что Ваша магистерская диссертация была написана по тематике, разрабатывавшейся А. Ф. Филипповым. Не могли бы вспомнить, как произошло Ваше с ним знакомство и как протекало Ваше общение?

Познакомились мы на дне открытых дверей в Шанинке. Я потом об этом знакомстве рассказывал часами и описал его недавно в вышкинской книжке «Ученики об учителях». Филиппов же спустя пару месяцев после моего переезда

в Москву заметил в разговоре с женой (Светланой Петровной Баньковской): «К нам поступил какой-то любопытный молодой человек армянской наружности — кажется, Вахштян».

Но самое главное, конечно, это то, как он с нами занимался. Я никогда до этого не проходил такой интенсивной интеллектуальной прокачки. Выглядело это примерно так: «...Вы следите за мыслью? Два решения: кантовское и лейбницевское. (Кстати, Вы уже дочитали «Критику чистого разума»?) Пространство как форма созерцания и пространство как порядок объектов. Тот факт, что сегодня решение Лейбница куда популярнее (кстати, о Лейбнице — я принес Вам Латура, он на английском) не означает, что возможности кантовского языка описаний исчерпаны. Давайте посмотрим, что делает с его аргументом Зиммель. (Кстати, что из Зиммеля Вы уже прочитали? Все, что переведено? То есть, Вы не читаете по-немецки? Ужасно. Я буду с Вами заниматься. Единственный способ выучить язык — начать переводить. К завтрашней нашей встрече переведите первых три катрена «Лорелей» и постарайтесь сохранить стихотворный размер). Итак, пространство как форма. Но форма чего? Мы знаем кантовское решение. Зиммель же делает здесь любопытный маневр...».

К концу года регулярное общение с АФ и Куракиным приобрело форму психологической зависимости — вычитав что-то, я немедленно кидался писать АФ письмо, а потом бежал искать в Шанинке Куракина, либо в кафе, либо в библиотеке. Ни разу не было случая, чтобы АФ не ответил по существу, какой бы завиральной ни была высказанная идея.

В какой-то момент Диме приснился сон, что мы, как обычно, сидим втроем в шанинском кафетерии, и он говорит Александру Фридриховичу: «Что Вы думаете о Баранове? Его стоит читать?». «Баранов — койот, — отвечает АФ, — его подобрала в Гималаях советская экспедиция». Куракин проснулся в холодном поту и первым делом проверил, кто такой Баранов и не был ли он действительной койотом. Потому что если так говорит АФ, так оно обычно и есть. Даже во сне.

Пиком нашего интеллектуального общения стало обсуждение текста Александра Фридриховича «Конструирование прошлого в процессе коммуникации» (написанного для препринта ИГИТИ по просьбе И. М. Савельевой и А. В. Полетаева) — первого текста Филиппова по теории социальных событий. АФ написал пять страниц и отправил нам с Куракиным для критики и комментирования. Мы писали, что думаем о каждом абзаце — как можно развернуть аргумент, где можно сделать другой ход, какие дополнительные теоретические ресурсы можно использовать в данном конкретном месте. Он писал еще несколько абзацев и снова отправлял нам. Это напоминало игру в шахматы (переходящую местами в фехтование) — мы предлагали ходы, он их отбрасывал один за другим, как не выдерживающие критики, но иногда (где-то один из раз из десяти), реагировал, переписывал фрагмент, добавлял аргументы, выводил наиболее уязвимые тезисы из-под удара.

Александр Фридрихович в конечном итоге приучил нас работать с архитектурой теоретического текста так, как если бы это была шахматная партия с Б-гом: не все ходы одинаково удачны. Нужно сначала изучить все классические партии. Их развязки нам уже известны — ничего невозможно ни убавить, ни прибавить. («Посмотрите, как выстроил свою схему Вебер! Это красивейшая конструкция... И без единого гвоздя!»). Потом перейти к более спорным и менее

очевидным комбинациям. Попытаться просчитать их последствия на несколько шагов вперед. («Чтобы отстоять свой основной тезис он просто вынужден сделать это допущение. Видите? Теперь ему некуда отступить. Еще шаг и он оказывается во власти чистой метафизики! Все. Конец. Дальше за ним даже ученики не идут. Теперь вернемся на три шага назад и попытаемся понять, где здесь ошибка...»). Через некоторое время мы стали замечать, как контуры теоретических аргументов проступают сквозь вполне очевидные, повседневные вещи: Гоббс в очереди на автобус, Зиммель – в диалоге трех друзей, Бурдьё – на эскалаторе метро, Гофман – в советской квартире. Мир вдруг наполнился теорией. Красота идей делала его куда более привлекательным местом.

Я знаю очень мало людей, которые способны увидеть в социологической теории завораживающую, геометрическую красоту. Тех, кто может производить по-настоящему оригинальные идеи еще меньше. Филиппов – один из очень немногих.

Виктор, большое Вам спасибо, Ваши ответы-очерки о Г.С. Батыгине и А. Ф. Филиппове весьма интересны для понимания современной истории отечественной социологии, мне хотелось бы специально обсудить, «есть ли она или ее нет», но сейчас – более специальный вопрос. Выше я просил Вас рассказать о том, учили ли вас читать советскую социологическую литературу. Теперь – учили ли вас писать научные тексты? Как Вы знаете, в американских колледжах есть специальные курсы типа “Writing,” “Critical writing,” “Academic Writing,” и вообще студенты постоянно отчитываются о работе текстами. Возможно, Теодор Шанин заложил подобные традиции и в предложенную им систему образования?

Именно так. Тут главное не переоценивать силу индивидуального влияния. Теодор Шанин как-то пошутил: «В Англии люди приходят и уходят, а институты остаются. В России – наоборот». Текстцентризм – ключевое свойство британской образовательной системы как таковой. Теодор просто перенес ее на российскую почву. Собственно и тогда, и сейчас основная форма отчетности в Шанинке – «essay», научная статья. Вы пишете четыре статьи по двум обязательным курсам и четыре – по четырем элективным. Потом все лето пишете диссертацию (которая может состоять из ранее написанных текстов не более чем на треть). В итоге выходит небольшая книжка. На каждый свой текст Вы получаете развернутую рецензию преподавателя курса, затем – рецензию второго экзаменатора с факультета и, наконец, рецензию внешнего экзаменатора из Великобритании. Иногда все рецензии по объему получаются как половина самого эссе. В таких условиях студенты очень быстро учатся писать – им деваться некуда.

У нас был курс «Academic writing» в рамках интенсива по английскому (напомню, мы были слабо подготовленными студентами – люди приезжали из регионов часто с минимальным английским; сейчас ситуация в корне поменялась – студенты часто знают по два языка на хорошем уровне). Геннадий Семенович читал элективный курс «Научное редактирование», основной месседж которого был: нужно серьезно относиться к оформлению библиографии (прекрасный пассаж в духе Батыгина: «...есть разные системы кавычек: визуально «елочки» гораздо лучше “лапок”»). Но сказать, что нас систематически «учили писать» я не могу. Мы учились писать в процессе письма. Писали, получали

рецензии в духе «проблема не поставлена, отсутствует интрига, нет сюжета, композиция ужасная, текст ведет автора больше, чем автор — текст», обсуждали, переписывали, снова получали по голове... Сейчас мы стараемся больше внимания уделять ремесленной части (в эти выходные я еду со студентами Шанинки в Подмоскowie на тренинг по методологии исследования и по технике академического письма). Но не могу сказать, что что-то радикально изменилось в подготовке. Все же письмо — это навык. Если много и систематически писать, он сам появится. Ну или не появится, но тогда лучше выбрать другую сферу деятельности.

Давайте вернемся к реконструкции траектории Вашей жизни, с того момента, который Вы выше обозначили словами: «На этом тексте учеба для меня закончилась». Что было дальше?

А дальше был 2003 год. Год рождения просвещенного авторитаризма и поколенческой шизофрении...

Здесь я должен сделать небольшое отступление на 4 года назад. В 1999-м вступил в партию. Сейчас — когда слово «партия» в обиходном языке снова воспринимается как «the Партия» — эту фразу невозможно произнести без истерического смеха. Между 2010-ми и 1970-ми куда больше общего, чем мы бы хотели видеть. Но в 1999-м фраза «Я вступил в партию» предполагала вопрос: «В какую именно?». Моя партия называлась РДП «Яблоко».

Откровенно говоря, уже тогда «Яблоко» было партией потрепанной жизнью антисоветской интеллигенции. И я вступил в нее из чувства солидарности с этой самой интеллигенцией — прежде всего, со своим отцом, который входил в региональный совет. Часть моих друзей по еврейской тусовке поступили точно так же. Все мои самые близкие учителя в Пензе были бескомпромиссными «яблочниками» (Кривов успел даже побыть доверенным лицом Явлинского на президентских выборах 2000 года, мы объездили всю пензенскую область с агитационными мероприятиями; а в машине по дороге он пел под гитару песни ДДТ о войне в Чечне). К тому же в конце 90-х я был дико политически активен — вел какие-то занятия для молодежи, ездил на все обучающие семинары, участвовал в уличных акциях (один раз директор театра позвонил отцу и попросил, чтобы его сын больше не устраивал пикетов у входа в святилище пензенской Мельпомены — это нервирует театральную публику). В голове у меня в 18 лет была чудовищная каша: я пытался поженить классический либерализм с экзистенциализмом на базе иудейской интерпретации свободы воли и тезиса «тикун олам». В общем, когда вы учитесь в откровенно слабом провинциальном университете, вы не знаете, что такое системность и последовательность, зато у вас остается масса времени на самообразование и странные формы побочной активности. А еще вы постоянно ищете новые источники такого самообразования. Обучающие семинары партии «Яблоко» в подобной ситуации — как раз то, что нужно. Особенно, когда на них преподают московские профессора (половину из них я потом встретил в Шанинке) вперемешку с представителями американских демократов (NDI) и республиканцев (IRI), французских социалистов (фонд Жореса) и немецких либералов (фонд Наумана).

Раз в три месяца я приезжал в Москву на семинары Московской школы политического образования (не путать с Московской школой политических исследований Е. Немировской — ее окончил мой отец). МШПО — проект Явлинского. Григорий Алексеевич всегда вкладывался в образование своих активистов и аналитиков. В итоге активисты плавно становились аналитиками, а аналитики уходили в «Единство» (позднее — «Единую Россию»).

Темы яблочных школ: региональный политический анализ, медиа-исследования, партийные системы, формы представительства, конституционное право и т. п. Лекции там читали Шейнис, Алексеева, Ионин, Кантор, Дегтярев, Рыженков... ну и Явлинский, конечно. Организатором была Галина Михайловна Люхтерхандт-Михалева, которая в начале 2000-х создала в партии аналитическую службу, think tank по немецкому образцу. На «яблочных» семинарах я познакомился с Лешей Титковым (он у меня читал лекции, а спустя 10 лет поступил в Шанинку и мы поменялись местами) и Лилией Васильевной Шибановой (основательницей «Голоса»). Там же впервые услышал про Шанинку от Ларисы Тарадиной.

В общем, когда я переехал в Москву и встал вопрос заработка, я очень быстро оказался в когорте аналитиков у Михалевой, а через полгода — директором отдела информационного анализа и медиа-исследований. В соседнем кабинете сидел мой приятель Илья Яшин, руководитель партийной «молодежки», этажом ниже — Леша Навальный, а дальше по коридору — Е. Б. Мизулина. Сейчас уже не верится...

Первый год в Москве я разрывался между работой в аналитике и Шанинкой. Весной стало ясно: нужно выбирать. Вообще, выбор между политикой и наукой — это моральный выбор. Не в смысле выбор между «моральным» и «аморальным». (Наука по самой своей природе куда аморальнее политики.) А именно выбор, опирающийся на какие-то иные основания — не научные и не политические. Как ни странно, мне помог его сделать Александр Фридрихович Филиппов. Одной своей лекцией про Вебера и его «Науку как призвание и профессию». Пока я работал в аналитике, мне казалось, что такая работа — это единство политической и интеллектуальной позиций. Но единство оказалось на поверку ложным. Нельзя одновременно строить в стране демократию и решать научную проблему. Есть синагога, а есть бордель — и там и там надо бывать, но не надо путать одно с другим. Есть политика, и есть наука. Есть общественная активность, и есть наука. Есть искусство, и есть наука. Есть популярное медиа-пространство, и есть наука. Это базовая веберовская идея ценностного суверенитета науки. Для меня она стала своего рода отправной точкой той самой поколенческой шизофрении: не пытаться зарабатывать деньги наукой, не пытаться выдавать за науку работу в прикладных исследовательских проектах. Поэтому к работе в аналитике я так и относился — зарабатываю на жизнь, оттачивая ремесло.

Моя политическая ангажированность полностью испарилась к началу 2003-го года. Но совсем уйти я не мог — в декабре были выборы. И я перешел на четверть ставки, чтобы сосредоточиться на учебе в Шанинке. А осенью, когда я уже сдал диссертацию Филиппову и вернулся на свое рабочее место, в офис нашей партнерской аналитической структуры (Агентство стратегических коммуникаций) вошли люди в пронзительно голубой униформе и предъявили ордер. Они выломали сервер (буквально выломали, при помощи лома

и такой-то матери), на котором лежали все мои аналитические записки. Полным ходом шло «дело Ходорковского», над которым со стороны партии работал мой отдел — мы отслеживали информационные вбросы, смотрели, как через оплаченные публикации нагнетается антиолигархическая истерия. Нам посоветовали до декабря на работе не появляться. Что было дальше Вы знаете — РДП «Яблоко», оставшись без всей своей информационной базы и поддержки, как крейсер «Варяг» ушла на дно. Я честно отстоял последнюю вахту в ночь выборов. Так кончилась моя политическая карьера.

Это был декабрь 2003-го. Нужно было как-то платить за квартиру (из общезжития выселили еще летом) и зарабатывать на жизнь, желательно не отнимая времени от научных занятий. Помог случай.

Случай звали Дмитрий Михайлович Rogozin. Он втянул нас с Куракиным в один из своих авантюрных проектов с А. Б. Долгиным (удивительный персонаж эпохи 90-х), а потом познакомил с Давидом Львовичем Константиновским. И понеслось...

Давид Львович сначала предложил нам с Димой быстро написать отчет на уже имеющихся данных. (По иронии судьбы наш первый проект с Константиновским был последним проектом Фонда Сороса в России.) А через 48 часов после сдачи отчета позвонил и предложил провести большой опрос во всех республиках бывшего СССР в рамках какого-то другого проекта. Так начались семь лет совместной работы с Давидом Львовичем. За эти семь лет мы сменили пять институций, провели больше 30 исследовательских проектов, написали в соавторстве четыре книжки по социологии образования, объездили втроем два десятка регионов... Но это та часть моей жизни, которая пришла на смену аналитике — зарабатываем деньги, оттачиваем ремесло. Наукой оставалась работа с теорией.

Помню, как мы с однокурсниками сидели на кухне у Тани Глезер, обмысливали получение своих шанинских дипломов. Наступал 2004 год. И тогда состоялся очень важный для меня разговор с Митей Куракиным. Мы поняли, что не сможем работать так, как Rogozin — вести большие прикладные проекты и выкраивать из них что-то для своих научных занятий (например, проводить методические эксперименты за счет заказчика). Потому что наши научные занятия — это теория. И тогда было решено поделить мозг на две части: одна должна постоянно работать над решением фундаментальных теоретических задач для диссертации и будущей книжки, вторая — совершенствовать навыки, получать опыт, зарабатывать деньги. Залог успеха: чтобы два этих полушария работали автономно и не в ущерб друг другу. Сотрудничество с Давидом Львовичем в качестве исследователей-фрилансеров давало такую возможность. («Главное, не садиться на ставку в маркетинге, это — смерть!») И где-то семь лет нам удавалось следовать этим курсом.

Вторая часть плана предполагала внедрение в аспирантуру к Филиппову. Мы с Димой немного перестарались и поступили в три аспирантуры (ИС РАН, ГУГН и Вышку). По совету Александра Фридриховича выбрали Вышку — он тогда преподавал на кафедре «Общей социологии» у Н. Покровского.

Мне, честно говоря, из всего обучения в аспирантуре больше всего запомнились вступительные экзамены. В комиссии сидели А. Ф. Филиппов и Н. И. Лапин. Я вытянул билет. Первый вопрос — институциональные матрицы

Кирдиной-Бессоновой. Тяжелый вздох. Как? Вот как? За что? Ладно, нужно выкручиваться. Я рассказал про структурный функционализм, проследил траекторию понятия «институт», мягко обошел вопрос о новосибирских матрицах и перешел к современному неоинституционализму. Засыпающий Николай Иванович почувствовал подвох. Когда я закончил, он посмотрел на меня из под своих брежневских бровей и спросил:

– Матрицы?

Я молчал. Он попытался сформулировать вопрос более развернуто, но прозвучало это так:

– Матрицы – это ... ммм... Матрицы? ... ну вот, скажем, матрица... Матрица... Матрица...

Филиппов не выдержал, повернулся к Лапину и тихо сказал:

– Перезагрузка!

– Что? – удивился Николай Иванович.

– Фильм есть такой, – пояснил Александр Фридрихович. – «Матрица. Перезагрузка».

Так я поступил в Высшую школу экономики. И первый год остро чувствовал, что вернулся в свой родной пензенский вуз. После Шанинки это просто не укладывалось в голове. Но мне было наплевать, потому что появилась возможность регулярно общаться с Филипповым и его коллегами по ИГИТИ.

Партийно-строительный аспект (фрагмент) истории Вашего поколения в моей «летописи в лицах» отечественной социологии ранее не был представлен. Спасибо. Я давно провел интервью с Н. И. Лапиным и Д. Л. Константиновским, беседую сейчас с Дмитрием Рогозиным, предполагаю – с Александром Филипповым... поколенческое движение дает объемность... самое время обратиться к теме, которой мы коснулись в нашей переписке: «Была и есть ли советская/российская социология?». Есть ли в темной комнате черная кошка или ее вообще нет?

Помните старый советский анекдот про могилу неизвестного солдата Мойши Рабиновича? Про то, что его звали Мойша Рабинович, мы знаем, но неизвестно был ли он солдатом. Так же и с советской / постсоветской социологией. Мы точно знаем, что она была – мы не знаем, была ли она социологией. Еще точнее – была ли она наукой.

Собственно, этот вопрос имеет непосредственное отношение к недавнему «спору о социологизме» (<http://polit.ru/article/2010/10/08/socio/>). Если социологи науки правы и наука – это не что иное, как социальный институт, то да, была. Потому что тогда социологией следует считать все, чем занимаются кандидаты и доктора социологических наук в социологических институтах, в редакциях журналов, на социологических факультетах и кафедрах. Этот тезис (несколько нерелевантно, но весьма полемически) был высказан в нашей дискуссии о состоянии постсоветской социологии Н. Романовским и Ж. Тошенко (<http://isa-global-dialogue.net/we-have-it-all-but-do-we-have-anything-further-confirmation-of-the-lamentable-state-of-russian-sociology-august-20-2012/>).

Коллеги-социологи полагают, что у нас нет никаких оснований для проведения границы между наукой и не-наукой «изнутри» самого знания. Напротив, «эпистемологи» свято верят, что проблема демаркации (отнесения чего-то

к «науке» или «не-науке») должна решаться безотносительно к социальным обстоятельствам рецепции, валоризации и т.д., исключительно исходя из содержания высказывания. И вот тут-то начинается все самое интересное...

Философия науки оставила нам в наследство всего несколько критериев демаркации:

1. Наука — это язык описания мира. Есть корпус социологических языков. Благодаря им теоретики рационального выбора из Китая лучше понимают теоретиков рационального выбора из Штатов, чем своих соседей — структурных функционалистов (хотя сидят с ними на одной кафедре). Высказывание является научным, если сделано на языке данной науки, в рамках конвенций той или иной теории.

2. Эмпирическая наука — это совокупность высказываний об объекте. Эмпирическое высказывание является научным, если а) сформулировано на языке конвенциональной теории, б) может быть опровергнуто в рамках конвенций той же теории.

3. Наконец, наука — это ценностнорациональное действие познания мира. Познание ради познания. Ученый не имеет права сказать «Я познаю этот мир, чтобы сделать его лучше / построить демократию / заработать денег / помочь ближним / давать советы власти». Он имеет право только на неангажированное, ничем иным не мотивированное познание. Если им движут другие цели — он просто не ученый (а политик, меценат, бизнесмен, активист и пр.).

По этим трем критериям большинство известных мне текстов за авторством советских социологов не являются научными. Они или изначально политически ангажированы, или просто сугубо эмпиричны: то есть, теоретического языка там либо нет совсем, либо его заменяет идеология. Зачастую, хорошая, правильная, «наша», либеральная идеология. Но от этого не менее кондовая.

Недавнее исследование замечательного петербургского антрополога Дарьи Димке показало любопытный факт: подавляющее большинство статей в журнале «Социс», опубликованных до конца 80-х годов в жанровом отношении являются манифестами, а не научными статьями.

Однако интересующий меня парадокс состоит в другом — в том, что в истории советской социологии мы найдем куда больше науки (в обозначенном выше смысле), чем у тех же авторов за двадцать с лишним лет, прошедших после распада СССР. Те же самые люди, которые в советские годы искренне старались усовершенствовать теорию социальной установки (В. Ядов), добиться достоверности эмпирического знания (Ю. Левада), ратовали за освобождение науки от идеологии (Т. Заславская), в 1990-е стали куда более идеологичны, непримиримы по отношению к «неангажированному теоретизированию» и «методологизму».

Показательны в этом отношении тексты Л. Д. Гудкова. Он недавно собрал их все под одной обложкой — в книге «Абортивная модернизация». Еще в 2006 году Лев Дмитриевич на симпозиуме «Пути России—2006» сформулировал свою позицию предельно четко: «Вопросы теории и методологии социальных наук имеет смысл обсуждать только в контексте как самой идеологии социальных наук, так и реальной практики исследования. А это значит — только с учетом характера отбора теоретического и концептуального инструментария (что в ходу, для чего, какие концепции, что объясняют и для кого?). Кто является инстанцией, удостоверяющей и сертифицирующей результаты научной (и преподава-

тельской, образовательной) работы. Соответственно, кто заказчик исследований, на кого ученый внутренне ориентируется, что определяют его мотивацию и пр.» Лев Дмитриевич, по факту, постулирует тезис о «партийности социологии» по аналогии с печально известным тезисом о «партийности литературы». Отсюда его искренняя неприязнь к чистым теоретикам в башне из слоновой кости. Они ведут себя непатриотично: «Заемствуемый концептуальный и теоретический язык — вещь небезобидная. Он создает эффект имитации собственной деятельности “под большую и настоящую” науку, стерилизуя собственные потенции работы и необходимость вдумываться в то, что же, собственно, представляет собой страна родимых осин».

Собственно, его партийная позиция — просвещать неразумное общество, поработанное циничной властью и активно эту власть воспроизводящее — то, что мы видим каждый раз вместо результатов исследований. Это называется узурпация моральной позиции — родовая травма советской интеллигенции. В текстах старших товарищей я постоянно спотыкаюсь о моральные суждения, замаскированные под аналитические (Л. Д. Гудков: «Простой пример: в российской прессе прошла информация о выделении из бюджета более миллиарда рублей на финансирование партии “Единая Россия” и других прошедших в парламент партий, но она никого не взволновала. А зря.»). Как несостоявшегося клинического диагноста меня поражает легкость постановки диагнозов: «...неуверенность людей в себе... робость, пассивность, астения, аутизм, склонность к навязчивому и безостановочному, непродуктивному копанию в себе... хроническая тревожность, комплекс жертвы либо же диффузная, безадресная агрессия, демонстративное самоутверждение и самодовольство, характерное для подростков, футбольных фанатов или телеведущих» (это тоже из «Абортивной модернизации»). К сожалению, подобный поток интеллигентского сознания, претендующий на научность, это скорее правило, нежели исключение. Что лично мне стало понятно сильно позднее, уже в «деле Куракина» (см. статьи Ядова и Чепуренко).

Конечно, вопрос о том что есть наука, — вечный, и не здесь нам рассматривать детально. Возможно, Вы удивитесь, но одним из таких вечных вопросов в математике (аксиоматической науке) является: «Что значит доказать?» Но вернемся к Вашей жизненной траектории. Прошел первый год в Шанинке, и Вы встретились с А. Ф. Филипповым. Что последовало?

Последовала жизнь на два фронта. В аспирантуре с подачи Филиппова я сразу же начал ходить на семинары Института гуманитарных историко-теоретических исследований, где подпал под обаяние Андрея Владимировича Полетаева и Ирины Максимовны Савельевой. Это было самое живое место в Высшей Школе Экономики — там собиралась «гуманитарная молодежь» (Наташа Самутина, Боря Степанов), там действительно завязывался какой-то междисциплинарный диалог. По сравнению с ИГИТИ соцфак Вышки — как минимум, его теоретическая часть — выглядел уныло. ИГИТИ же был больше клубом, чем институцией. Сегодня в Шанинке мы стараемся сохранить именно такой, клубный формат. Когда пишешь текст и знаешь, что комментировать его будут Филиппов и Полетаев... Мне дико не хватает этого сейчас...

Филиппов больше работал с формой, стилем, логикой и композицией статей, Полетаев заваливал литературой, ликвидируя пробелы в моем стохастическом образовании. Комментарии Филиппова на полях моих первых публикаций я буду помнить всю жизнь: «Латур стремится устранить дихотомию субъекта и объекта...», комментарий АФ: «На хрена тебе это, дяденька Латур? – спрашивают пионеры». Или: «Раскол между структуралистским и интеракционистским аргументом намечается в самом языке гофмановской теории», комментарий АФ: «Так и вижу, стоит Гофман и размахивает своим расколотым языком».

Свободное время мы с Куракиным проводили на даче у Александра Фридриховича и Светланы Петровны. Но свободного времени было немного – работа в проектах по исследованию образования с Константиновским шла полным ходом. С Давидом Львовичем мы за несколько лет объездили около десятка регионов, вели опросы, интервью, фокус-группы (на моей первой фокус-группе в Чувашии подрались учителя), овладевали «низким жанром» отчета по проекту. Это была «вторая жизнь», полная скорее экзистенциального, чем интеллектуального напряжения. Константиновский – гениальный руководитель исследовательской команды. Этика исследования – это не этика научного поиска (всегда аутичного и индивидуалистского по своей природе). Мы с Куракиным научились писать в соавторстве так, что спустя год не могли отличить – кто какую часть текста написал.

В общем, 2003–2007 – это четыре года исследовательского угара и академического драйва. За это время я опубликовал около двадцати статей, переводов и рецензий, подготовил сборник «Социология вещей», написал в соавторстве две книжки по итогам наших исследований образования, закончил диссертацию по теории фреймов. Но все это было вторично по отношению к самому сильному чувству этого периода – чувству принадлежности к интеллектуальной и исследовательской среде. Ощущению того, что каждый твой текст – на самом деле просто диалог коллег в твоей голове.

А потом не стало Полетаева.

Виктор, а что если мы снова уклонимся от собственно временной развертки Вашей жизненной траектории? У нас был длительный перерыв в связи с тем, что с шанинскими выпускниками Вы провели две недели в Тбилиси, обсуждая тексты по социологии смерти. Помню покойного Игоря Семеновича Кона, еще живя в Ленинграде, он говорил мне: «Не хочу заниматься образом жизни. Хочу – образом смерти». Мне интересно не только то, какие тексты по социологии смерти вы анализировали, но и в какой мере 20-ти летние студенты понимали то, что они обсуждали... ведь смерть – это трагедия, чтобы глубоко обсуждать социологию смерти, надо в какой-то мере «прикоснуться» к смерти... не так ли?

Хм... Это очень хороший вопрос. Но сначала давайте избавимся от одного очень распространенного в разговоре о смерти «идола» – Идола Возраста. В повседневном языке мы часто связываем смерть и старость. Иногда почти до синонимии: старость как «жизнь на пороге смерти». Но ведь любая жизнь – это жизнь на пороге смерти. Ни у одного возраста нет монополии на смерть. Ни близость смерти, ни ее большая вероятность, ни объективная предрасположенность (болезнь) не являются достаточными условиями такой монополии. У подростка свои отношения со смертью, у человека средних лет – свои, у больного чело-

века — свои. И ни одни из этих отношений не являются привилегированными. Возраст — не залог достоверности или какой-то сверхрациональной «правды» в суждении о смерти.

Поэтому да, двадцатилетние люди могут «прочувствовать» эту тему ничуть не меньше, чем люди семидесятилетние. Они во многом избавлены от обывательских и литературных клише («смерть как трагедия», «мистерия смерти», «смерть как примирение» и пр.). Опыт прикосновения к смерти есть у каждого. Равно как и экзистенциальный опыт скорби. Другое дело — как перевести это экзистенциальное переживание в социологическую концептуализацию? Как перевести «смерть» на язык социологии?

Увы, все, что называется сегодня «социологией смерти» — это следствие псевдонаучного малодушия. Страх смерти (и одновременно влечение к ней) заставляет социологов писать о фреймировании смерти, о ее социальном бытовании или вовсе — о социальном конструировании. Каковы образы смерти в культуре Х? Как люди говорят о смерти в повседневном общении? Какова социальная машинерия, позволяющая человеку примириться сегодня с собственной смертностью? Таковы вопросы на повестке дня «социологов смерти». И они не имеют к смерти как экзистенциальному событию, в сущности, никакого отношения. Как социологи мы говорим не о ней, а о ее легитимных субститутах — «разговоре», «бытовании», «образе». Социолога-теоретика же должен занимать единственный вопрос: какова социологическая концептуализация смерти? Что можно сказать о смерти, не покидая языка социальной теории и в то же время — не подменяя ее наблюдаемыми эмпирическими коррелятами (потому что смерть не тождественна разговору о ней с интервьюером).

Мы с коллегами, выпускниками Шанинки разных лет, попытались найти эту точку — в которой смерть уже является социологически описуемым феноменом, но еще не теряет своего экзистенциального измерения, не подменяется привычными социологическими субститутами. Собрали корпус релевантных текстов и две недели назад поехали в Тбилиси, читать. Каждый день брали один текст и работали с ним в логике шанинского аналитического чтения (в лучших традициях Бейт-Мидраша).

Я попробую привести один пример.

У Георга Зиммеля есть текст «Смерть и Бессмертие». В нем еще чувствуется старый неокантианский осадок, но сам автор уже не неокантианец — ему в тот момент куда ближе немецкая философия жизни. И вот мы начинаем читать текст как запись шахматной партии: реконструируя ходы, анализируя их совместимость и импликации. Зиммель делает первый ход: «Большинству людей смерть представляется смутным пророчеством, парящим над их жизнью и лишь в момент своего осуществления как-то связанным с ней подобно тому, как над жизнью Эдипа витало пророчество, что он когда-нибудь убьет своего отца. В действительности же смерть с самого начала изнутри связана с жизнью». Что значит «изнутри связана»? Зиммель запрещает нам мыслить смерть как что-то внешнее по отношению к жизни. Она не является какой-то самостоятельной сущностью, нет никаких своевольных богинь судьбы, которые бы в определенный момент просто перерезали бы нить вашей жизни. Каждая жизнь в каждом своем моменте уже содержит смерть — старая и довольно банальная идея «жить значит умирать».

Но вот он делает следующий ход: смерть — это формообразующий момент жизни. Как это понимать? Возможно, наша жизнь приобретает некоторое единство — подчеркнем, логическое, консистентное единство — только в момент смерти. Гештальт закрывается. Логика приходит в биографию *post mortem*. Однако здесь вводится важное различие: любая ли смерть является формообразующим моментом? Нет, говорит Зиммель: «Некоторые... умирают потому, что жизнь случайно кончилась; смерть не являет собой границу, положенную их внутренним жизненным процессом; это — те люди, жизнь которых вообще не имеет формы в высшем смысле... Здесь речь идет, собственно говоря, о различии между смертью и убийством».

То есть, убийство как «внешняя смерть» отличается от «внутренней смерти» тем, что не закрывает гештальт, не придает жизни завершенность — к нему как раз применима метафора «перерезания нити»? Получается, жизнь априорно неконсистентна — придать ей форму может только смерть, но не любая, а лишь та, что «положена изнутри жизни»? Здесь появляется первая развилка. Либо мы принимаем эту интерпретацию на основе процитированного фрагмента (и исследуем текст абзац за абзацем, чтобы понять, что нам дает и к чему обязывает такое решение), либо ищем альтернативную интерпретацию.

Возражения против данной трактовки очевидны. Форма — это остаток неокантианского категориального аппарата у позднего Зиммеля. Форма предполагает некоторое внутреннее единство (в данном случае внутреннее единство жизни). Именно поэтому Зиммель против абсолютизации момента смерти — смерть уже есть в каждом моменте жизни; по Зиммелю нельзя сказать: жизнь — это процесс, смерть — это момент. А значит, мы не можем сказать то, что сказали выше: логика не приходит в биографию *post mortem*. Дальше. Как быть с солдатом, убитым на войне? Это не просто смерть, а гибель — в предложенном выше различии. Значит, его смерть случайна? То есть, она не закрывает гештальт, не является формообразующим моментом? Нет разницы между гибелью солдата и гибелью мирных жителей? Как тогда быть с введенным Зиммелем критерием случайности?

Обратившись к тексту и исследовав две альтернативные трактовки, мы скоро вынуждены будем сделать выбор в пользу иной интерпретации. Форма жизни не пуста. Она наполнена тем, что Зиммель называет жизненными интенциями. Это событийная логика — тот доминирующий экзистенциальный стиль, который придает событиям биографии внутреннее единство еще до смерти. Ключевая характеристика этой логики — интенциональность. По ту сторону интенциональных событий вашей жизни лежат иные события — случайные или каузально связанные, объективные и исторические. Что находится на стыке жизненной интенции и каузальности «внешних» событий? Здесь у Зиммеля появляется категория судьбы.

С судьбой все уже не столь очевидно. Тут более двух интерпретаций и каждая нуждается в прояснении, прослеживании, столкновении с иными опциями. Наиболее правдоподобная (по итогам обсуждения) трактовка такова: судьба — это оператор селекции. Т.е., то, что отбирает «внешние», объективные события, размещенные в историческом времени, и делает их событиями вашей жизни, переносит их в иную, экзистенциальную темпоральность. Поэтому солдат не может умереть на «чужой войне». К моменту смерти это уже «его» война.

Моя жизнь последние десять лет неразрывно связана с полетами и переездами. Я немного боюсь летать, но провожу в самолете около ста часов в год. Это не прихоть, хотя я не смогу объяснить это рационально. Все, что я смогу ответить: «Вот так я живу». Если завтра я погибну в авиакатастрофе, никто не сможет сказать: «Какая нелепая и случайная смерть». Потому что в моем случае эта смерть не будет «внешней» — она легко впишется в событийную логику моей жизни. Это будет формообразующий момент. (Честно говоря, эта мысль меня немного успокаивает.) Самоубийство Делеза — продолжение логики его письма. Гибель солдата — продолжение его образа жизни. Именно в этом (и только в этом) контексте можно говорить о смерти не как о драме, а как о трагедии: «Трагедия позволяет нам чувствовать, что случайное именно в своей глубочайшей основе есть необходимое. Несомненно, что герой трагедии погибает от столкновения между внешними для него данностями и его собственной жизненной интенцией; однако то, что это происходит, глубоко предначертано именно ею — в противном случае его гибель была бы не трагическим, а лишь печальным происшествием».

Категория судьбы, как «оператора неслучайности случайного» вообще очень важна для ранней немецкой социологии (см. понятие «судьбической общности» у Фрайера). Но у Зиммеля — если приведенная реконструкция верна — появляется еще одна опция. Зиммель говорит о судьбе именно как о категории в кантовском смысле! То есть, о чем-то, что стоит между имманентным и трансцендентным (раз) и о том, что придает форму, правда не чувственным данным, а событиям (два). Можно пройти в эту сторону еще несколько шагов и посмотреть, что нам дает такой ресурс интерпретации (прочтение Зиммеля через Канта). Но мы не пойдём в эту сторону. Мы сделаем шаг дальше по пути выбранной логики интерпретации — триада «интенция / судьба / история» — и упрёмся в противоречие. Потому что дальше Зиммель пишет о бессмертии. О том, что выходит за пределы жизни. И говорит о бессмертии двух типов: бессмертия лягушки (каждая лягушка по-своему жива до тех пор, пока жив лягушачий род в целом) и бессмертия Гёте. Первое бессмертие он выносит за скобки. Второе бессмертие — это превращение событий частной интенциональной жизни отдельных индивидов в события исторические. То есть, бессмертие (в противоположность судьбе) — это оператор обратной селекции: фрагменты вашей биографии отчуждаются от событийной логики вашей жизни и приобретают статус «объективных», «исторических» событий. Бессмертие — это антисудьба. «Страдания юного Вертера» провоцируют волну самоубийств. Бессмертие Гете (его жизненная интенция отчуждается в романе) становится судьбой его читателей (внешнее по отношению к их жизни событие самоубийства главного героя апроприируется их жизненной интенцией).

Пока противоречия нет. Правда теперь уже непонятно, как читать Зиммеля через Канта, потому что бессмертие вряд ли может быть понято как аналогичная судьбе «динамическая категория» (так Зиммель переиначивает кантовские априорные категории, выводя их из сферы познания на экзистенциальный простор). Бессмертие — это судьба, вывернутая наизнанку. Ок, пусть так. Вывернутая наизнанку, она все равно вписывается в описанную выше схему.

Но дальше — хуже. Зиммель вдруг делает очень странный гегельянский ход. Он говорит о том, что оппозиция жизни и смерти «снимается» в бессмертии. Что за бред? Как так? Откуда вообще взялась оппозиция? Как объяснить появление

в тексте вот этой фразы: «Жизнь сама требует смерть как свою противоположность, как “другое”, которым становится нечто и без которого это нечто вообще не имело бы своего специфического смысла и своей формы. Жизнь и смерть стоят на одной ступени бытия как тезис и антитезис»?! Какой, к чертовой матери, тезис и антитезис, если мы уже зафиксировали ключевую позицию: Смерть не противостоит жизни и не обладает собственным содержанием. Смерть присутствует в каждом моменте жизни и может либо быть формообразующим ее элементом, продолжая логику интенциональной событийности, либо идти в разрез с этой логикой, становясь внешним по отношению к форме жизни событием...

Вот все, что я описал выше, до этого парадокса, занимает где-то полчаса обсуждения. Это прелюдия. Мы реконструируем ходы, проясняем различия, смотрим, что они нам дают для осмысления каких-то собственных примеров. В тот момент, когда мы обнаруживаем парадокс — напряжение между зиммеле-«кантианской» и зиммеле-«гегельянской» концептуализацией смерти — начинается собственно работа. Столкновение трактовок, переописание, выход на новый уровень проблематизации, работа с кейсами (смерть младенца, самоубийство, смертельная болезнь, знание даты своей смерти, дожитие, написание завещания, массовая гибель и т.д.). Парадокс заставляет глубже погружаться в текст, эксплицитировать более тонкие различия, смотреть — как мы можем увидеть мир через призму этого языка. И каждый раз заново возвращаться к вопросу: обладает ли смерть своим собственным смысловым содержанием? А на следующий день — следующий текст.

Я назову только несколько текстов, с которыми мы успели поработать. Квентин Мейясу, современный философ, один из создателей спекулятивного реализма, «Дилемма призрака» — интересный сюжет об условиях возможности «действенной скорби» («призраками» Мейясу называет как раз тех, кто умер «неформообразующей» смертью, по Зиммелю). Текст Филиппова по теории событий — попытка осмыслить смерть как «абсолютное событие первого рода». Текст Мишеля де Серто «Неназываемое: умирать» — о напряжении между смертью и языком повседневности. Глава книги другого современного философа Тимоти Мортон «Магическая смерть» — о теореме Геделя, проблеме телесной хрупкости и метафоре смерти как перевода. К сожалению, мы не успели как следует разобраться с темой смерти в музыкальной теории и социологии музыки (де Нора) и концептуализацией самоубийства в теории рационального выбора (Фельдман).

В день мы тратим примерно два-три часа на такую работу. Остальное время — ездим по стране и общаемся. В конце концов, это не совсем школа — мы просто выбираем страну, скидываемся, снимаем дом, запасаемся текстами и отправляемся читать. Первую такую инициативную школу мы провели в 2010-м в Израиле по языковым утопиям, потом в 2011-м в Черногории по теориям рефлексии, в 2013-м мы сделали две школы — по социологии архитектуры (в Киеве—Одессе) и по метафоре монтажа (в Аликанте-Мадриде). Сейчас уже начинаем думать про следующую.

А что, Ваш современный-и-традиционный метод аналитического чтения включает построение каких-либо матриц, графов текстов, некое конструктивистское оформление?

Нет, напрямую нет. Я вообще противник графических схематизаций. Хотя в пылу обсуждения все жестикулируют, изображая руками «различения», и выглядит это иногда действительно очень странно — как доказательство теоремы, которое нужно чертить в воздухе.

Думаю, все дело именно в интуиции «различения». Мышление начинается с того, что мы проводим черту. Я взял эту логику от Филиппова, тот от Лумана, тот — от фон Ферстера и Спенсер Брауна. Несколько лет назад мы провели с Михаилом Соколовым и Андреем Корбутом шуточный круглый стол на тему «Формализм как стиль социологического теоретизирования». Хотя я по-прежнему не уверен, что «формализм» — подходящее название. Просто геометрическая интуиция в работе с идеями. Каждый эксплицирует ее по-своему. Мы с Андреем и Мишей попытались схватить эту интуицию в своем печально известном поколенческом манифесте:

6. Текст состоит не из фактов, а из слов.

6.1. Слова не создают мир и не описывают его. Они лишь делают его видимым.

6.2. Смысл теории состоит в том, чтобы, убрав слова, оставить лишь чистые линии.

6.2.1. Тексты и вещи — две стороны одной линии.

6.2.2. Мир — это совокупность линий и образованных ими плоскостей.

6.2.2.1. Размывание линий — предательство мира.

6.3. Не надо размазывать манную кашу по белой скатерти.

Про кашу, это точно, не возразишь... наверное самое время спросить о Вашей кандидатской работе... как происходил выбор темы? Что составляло главную исследовательскую проблему? И т. д.

Диссертацию я писал по фрейм-анализу Ирвинга Гофмана. Точнее о том, как нам реорганизовать все здание социологии повседневности (она же микро-социология) на основаниях разума и прогресса — т. е., теории фреймов.

Если серьезно, в психологии есть проблема, поставленная Уильямом Джеймсом — проблема верховной реальности. У нее весьма любопытная предыстория. 20-го января 1843-го года Эдвард Драммонд, личный секретарь премьер-министра Роберта Пиля был застрелен Даниэлем Макнотеном, владельцем небольшого деревообрабатывающего предприятия в Глазго. Макнотен был одержим манией преследования: ему казалось, что правящая партия консерваторов регулярно подсылает к нему шпионов. Он решил нанести упреждающий удар, выстрелить первым, и жертвой должен был стать не Драммонд, а сам премьер-министр Пиль. Макнотен предстал перед судом, где сообщил о преследованиях со стороны партии тори. Медицинское заключение диагностировало несомненное психическое расстройство параноидного типа. В итоге Макнотен был признан невиновным на основании помешательства. Его препроводили в психиатрическую лечебницу, где он и скончался двадцать два года спустя. Однако, взбуряженная происшествием, палата лордов потребовала от специально созданной комиссии судей ответить на «гипотетический вопрос». А именно: «Если человек под влиянием болезненно-бредового восприятия фактов действительности совершает преступление с тяжелыми последствиями, то освобождает ли его это от юридической ответственности?». Судьи ответили на него следующим образом:

«если под влиянием заблуждения человек полагает, будто на его жизнь покушается другой человек, и убивает такого человека, как он убежден, в целях самозащиты, — убийца может быть освобожден от наказания. Если же его заблуждение состояло в том, что покойный якобы причинил серьезный вред его репутации и благосостоянию и он убил этого человека в отместку за такой предполагаемый вред, убийца подлежит наказанию». Иными словами, Макнотена оправдали не потому, что он в момент совершения преступления находился в иллюзорном мире, созданном его болезненным воображением. И не потому что, как утверждал его адвокат, он не мог контролировать свои действия. Его оправдали, потому что в его воображаемом мире на него велась безжалостная политическая охота, и он действовал в нем из соображений самозащиты, покушаясь на главный источник опасности. Если бы Макнотен — находясь в таком же точно состоянии — выстрелил в Драммонда, чтобы «передать послание Пилю», его бы, скорее всего, осудили на казнь. Поскольку тогда это уже не было бы самозащитой даже в мире безумия. Английские судьи тем самым признали, что мир безумия является миром *sui generis*, «структурно подобным» миру здравого смысла, и его обстоятельства имеют решающее значение для вынесения вердикта.

Но что значит «структурно подобным»? И что имеет решающее значение: структурное подобие миров или их суверенность, независимость друг от друга?

Спустя полстолетия после выстрела на Даунинг-стрит в Гарварде была издана книга Уильяма Джеймса «Принципы психологии». В главе «Восприятие реальности» Джеймс впервые обосновал тезис о множественности относительно автономных (но подобных друг другу) миров, предложив попутно их первичную классификацию: мир повседневных физических вещей, мир науки, мир абстрактных истин, сверхъестественные миры, мир иллюзий и предрассудков, мир безумия. Главное их свойство — непротиворечивость. Все эти миры — здравого смысла, науки, литературы или безумия — блокируют сомнение в их собственной реальности до тех пор, пока вы находитесь «внутри». Вы не сомневаетесь в реальности стула, на котором сидите. Дон Кихот не сомневается в реальности великанов. Физик не сомневается в реальности атомов. Это не значит, что в атомах, великанах и стульях нельзя усомниться — это лишь значит, что в них нельзя усомниться, пока вы находитесь в их мире (здравого смысла, безумия или физики).

Джеймс доказывает, что мир обыденных физических вещей, ощущений и здравого смысла — это верховный мир, доминирующий над остальными. В социологию всю эту проблематику множественных миров перенесет Альфред Шюц, и так возникнет социология повседневности. И у Джеймса, и у Шюца все миры замкнуты и упорядочены (повседневность занимает среди них привилегированное положение). Но Ирвинг Гофман сумел иначе решить «джеймсовскую проблему». Для этого он а) размыкает миры — показывает, как содержание одного мира (к примеру, повседневности) может становиться содержанием другого (игры или представления), б) отказывается от иерархии. Повседневность лишается привилегий. Теперь мы изучаем как фреймируются конкретные взаимодействия людей лицом-к-лицу и как получают прописку в том или ином мире. Как взаимодействия переключаются, транспонируются из одного мира (системы фреймов) в другой.

Главное же, что отличает программу Гофмана — это ее удивительная чувствительность одновременно и к фундаментальным философским вопросам (существует ли верховная реальность повседневной жизни?) и к очень конкретным взаимодействиям людей здесь-и-сейчас (что происходит с событием драки, когда оно становится игрой в драку? инсценировкой игры в драку? репетицией инсценировки игры в драку?). То есть, это очень эмпирически заточенная, ориентированная на наблюдателя теоретическая программа. Я как раз хотел связать эти уровни — показать, что между философией и социологическим исследованием нет зазора. Потому что социологическое исследование — это и есть «полевая философия».

Думаю, были и какие-то иные причины выбрать Гофмана. Гофман — психолог для социологов и социолог для психологов. Философ для полевиков и полевик для философов. Он точно посередине двух этих осей. И двух этих разрывов, которые — и мои разрывы тоже на тот момент. Потому что через год после Шанинки я все же попытался собрать пазл из разных частей своего «бэкграунда».

Когда я пришел с этим замыслом к Филиппову, он сказал: «Поле, на которое Вы ступаете, кажется Вам непаханным. А на самом деле оно минное». Но через два года работы над текстом «минное поле» неожиданно перестало быть метафорой. Потому что меня позвали поработать «на минные поля».

После падения партии «Яблоко» некоторые ее члены организовали Ассоциацию «Голос». Мы остались в хороших отношениях, время от времени я консультировал какие-то «голосовские» проекты, а позднее вошел в их попечительский совет (что мне совсем недавно припомнили люди в погонах). В 2005 году друзья из «Голоса» предложили мне поработать в миссиях электорального наблюдения ОБСЕ на Балканах. Я поехал в Албанию, на границу с Косово (тогда еще непризнанной республикой). За следующие несколько лет с похожими миссиями объездил Боснию, Хорватию и Восточную Украину.

Балканы, конечно, имеют свою специфику. Там вы работаете бок о бок с бывшими полевыми командирами, которые рисуют для вас карты оставшихся минных полей, иногда натываетесь на заброшенные склады с оружием, интервьюируете беженцев... Интересная и нервная работа. Но меня поразило другое. Все мои представления о том, как должны фреймироваться взаимодействия лицом-к-лицу рухнули. Выборы на Балканах могут фреймироваться как ритуальное сакральное действие, как карнавал и сабантуй, как спортивное состязание, как театральное представление... И каждый раз наблюдатели вынуждены отвечать на вопрос — это все еще голосование? Или это уже игра в голосование? Голосование в кавычках? В общем, совершенно фрейм-аналитический вопрос. Там я написал свою первую англоязычную статью о рефрейминге и транспонировании электоральных событий. Включить этот текст в диссертацию я, впрочем, не рискнул. И так представитель ведущей организации поначалу отказался писать отзыв, «потому что текст пахнет шпионажем». (Потребовалось неожиданное вмешательство харизматичного Александра Фридриховича Филиппова, чтобы его убедить.) Все-таки шел 2007 год. Антишпионская истерия была еще впереди, но в академических институтах люди обладают чутьем особого рода.

Защитился я в Высшей школе экономики удачно, без черных шаров. Но, если честно, защиты своей не помню. Все было как в тумане. И на следующий день снова вылетел в «поле».

С тех пор, однако, говоря высоким штилем, минуло почти десять лет. Скорее всего для Вас это не был один долгий, тягучий, монотонный интервал времени? Пожалуйста, обозначьте на нем некие веховые, «особые» точки.

Сложно сказать. Нет, конечно, не монотонный интервал. Но и не совокупность взаимосвязанных событий. Просто из-за этой поколенческой шизофрении несколько жизней протекали параллельно в разных измерениях и по какому-то случайному стечению обстоятельств их связывали с одним человеком. Что-то вроде бегового круга на стадионе, где рядом бегут прикладной исследователь, ученый-теоретик и журналист и у каждого своя полоса препятствий, свой темп прохождения, свои риски выхода из игры. Причем, они не соревнуются друг с другом. Другая метафора: микшерский пульт звукооператора. Вы добавляете «исследовательских проектов», убираете «теоретических текстов», отключаете «журналистику» — либо звучит, либо не звучит.

Что считать «вехой» или «рубежным событием» в такой модели? Например, уход одних персонажей и появление других. Переезд в Москву прервал мои связи с еврейскими организациями. Восстанавливал я их спустя много лет уже в другой роли — как прикладной исследователь, оценивающий на деньги американских и израильских заказчиков работу тех организаций, в создании которых когда-то принимал участие. В какой-то момент к двум основным идентичностям — ремесленной и теоретической — добавились второстепенные трэки «медийного персонажа» и «политика-администратора». Они продолжают жить своей жизнью до сих пор. И тогда основные вехи — это возвращение в Шанинку деканом родного факультета (2008), уход из нее в большую (около)академическую политику (2011), отъезд из страны (2013).

Другой способ концептуализации «рубежных событий» — смотреть, что повлияло на все параллельно проживаемые жизни. Тогда их еще меньше. Например, «дело Куракина» (2010) или, опять же, отъезд (2103).

Но все это очень поверхностные, внешние «рубежи». Выход книги обладает статусом абсолютного события для ученого, но мало влияет на остальные жизни. Запуск «Евробарометра в России» обладал огромным значением для меня как прикладного исследователя и ровным счетом ничего не значил для меня как для ученого. Запуск своего факультета, открытие нового исследовательского центра, создание большого института, издание своего научного журнала — все это важные события для меня как политика-администратора. Они ничего не значат для других идентичностей (и меньше всего — для научной). Это не мешает мне гордиться всеми этими структурами и работать на их развитие. Может быть, как раз самые главные вехи — те, которые «внутри» отдельных идентичностных треков.

Интересно, что защита кандидатской не была рубежным событием ни в каком смысле. Потому что кандидатская — это ритуально-политический акт жертвоприношения, не имеющий рационального содержания. К моменту защиты меня уже более или менее знали по публикациям, «Социологию вещей» читающая публика встретила неожиданно хорошо, я валидировал свой курс в Манчестере, несколько лет как преподавал в Шанинке и Вышке, ездил с публичными лекциями в разные места. Одна из первых таких лекций была в Питере в Европейском университете 23 марта 2007 г. — ровно через неделю

после защиты. От той поездки у меня до сих пор осталось много добрых друзей в Питере – Миша Соколов, Даша Димке, Кирилл Титаев. По гамбургскому счету, это куда больше «веха», чем кандидатская.

После защиты я ровно полгода был абсолютно счастлив. Проекты начали, наконец, приносить дивиденды в виде репутации и денег. Филиппов взял меня в свой Центр фундаментальной социологии на какую-то символическую ставку старшего научного сотрудника, которая позволяла чувствовать себя частью «теоретического клуба». Публиковался довольно много – «поля» и отчеты оставляли массу времени, чтобы держать себя в тонусе. Ездил на разные школы и стажировки в западные университеты, начал работать над книжкой по итогам диссертации... Все шло, как было запланировано: оттачиваем ремесло в проектах, параллельно решаем свои теоретические задачи. Два трэка – научный и ремесленный – давали каждый свою отдачу и практически не пересекались...

И в этот момент раздался звонок. А вернее два звонка. Мы как раз с Куракиным и Давидом Львовичем вели исследование в Дагестане. Череду полетов выдалась очень плотной, между Новосибирском, Махачкалой и Ярославлем было по одному дню на передышку. В день приходилось вести по три фокус-группы и по несколько экспертных интервью. А по ночам, под виски, мы еще успевали разбирать конспекты и делать наброски отчетов. В Дагестане кроме всего вышеперечисленного нужно было быть хорошими гостями, выпивать и говорить о политике, уметь правильно отреагировать на тост... Поэтому первый звонок застал меня в Дербенте, в крепости, на которую мы с Куракиным залезли, чтобы на короткое время ускользнуть от внимания приглашающей стороны.

Сначала позвонил Теодор Шанин. Он, кажется, за год до этого ушел с поста ректора Школы, став ее почетным президентом. Сказал: «Мне с тобой нужно поговорить. Только не говори Каспржаку, что я звонил. Как приедешь – набери меня». Анатолий Георгиевич Каспржак занял пост ректора Школы после Теодора. Он в этот момент как раз пытался разобраться с происходящим в Школе и искал возможность удержать этот корабль на плаву – после ухода большинства западных спонсоров и резкого ухудшения политического климата. Он позвонил мне примерно через 45 секунд после Теодора: «Вы не в Москве? Нам бы нужно было увидеться. Только не говорите Шанину, что я Вам звонил».

Думаю, два этих коротких звонка до сих пор входят в сотню самых важных в моей жизни.

Прекрасно, мне и нужен был такой каркас для продолжения нашей беседы. Кое-что мне уже известно из нашей переписки, очень ценной для меня, но все равно мы об этом поговорим особо. Но начну с Вашей лекции в Европейском университете в СПб 23 марта 2007 года. Что заставляет Вас сегодня, спустя 7,5 лет, помнить эту дату и считать лекцию «вехой» на Вашем профессиональном пути?

У здания социологической теории очень причудливая архитектура. В фундаменте у него (как и у любого другого строения на этой территории) заложено коллективное производство знания. То есть, наука – это, казалось бы, по определению коллективное предприятие. Но теоретическая проблема – что-то вроде одностенной кельи под самой крышей. (В феноменологии это называется «парадоксом Финка»: содержание мира теории не может быть адекватно передано в коммуникации теоретиков здесь-и-сейчас). Поэтому ритуал инициации

теоретика выглядит так: научный руководитель закрепляет приставную лестницу в коллективном производстве знания, аспирант лезет по стене дисциплины, пока не находит в ней «свою нишу», начинает ее долбить и обустраивать, а научный руководитель, взмахнув на прощанье рукой, лестницу отбрасывает. Все. Теперь это Ваша задача — связывать свои аутичные ниши в мире идей и коллективное производство знания.

В свое время Филиппов поразил меня фразой: «Я купил книжку Бенно Верлена и обрадовался — тот уже написал все, что я хотел написать о пространстве». Я говорю: «Александр Фридрихович, точно обрадовались? Не напились с тоски, не впали в депрессию, а обрадовались?». Он говорит: «Конечно, обрадовался! Я понял, что я — не сумасшедший. Есть хотя бы еще один человек, который думает в ту же сторону. И, значит, просто нужно рыть дальше».

Поездка в Питер в марте 2007 года — это был такой пробой диэлектрика. Теоретика-аутисту сложно поверить, что где-то есть целый университет, в котором люди читают те же книги, что и он, следят за теми же публикациями тех же авторов. Для меня Волков и Хархордин были абстрактными фигурами, невидимыми партнерами по шахматной игре, коммуникация с которыми возможна только в мире идей (и потому это, скорее, квазикоммуникация по Шюцу). А тут вы, расширяя свою нишу, долбите стену и вваливаетесь в чужой коридор, весьма разветвленный и хорошо обустроенный, после чего появляются живые хозяева и предлагают прогуляться по своему теоретическому лабиринту, показывают разные строительные решения — что, как, с чем связано.

Но, конечно, Вергилием в Европейском университете для меня стал Михаил Соколов. Мы тогда оба занимались Гофманом (он — ранним, я — поздним). Миша прочитал мой автореферат, написал на него иронично разгромный отзыв, а потом позвал прочитать лекцию в ЕУ. Мы встретились у метро Чернышевская. До лекции оставалось еще два часа, и Соколов решил показать мне «социологический Петербург».

— Вот, окна квартиры Ядова. А вот тут жил Здравомыслов. Они, как Вы понимаете, жили в двух шагах друг от друга. Вы примерно представляете себе размеры петербургской диаспоры в сегодняшней московской социологии? Каждый второй известный московский социолог — на самом деле петербуржец.

— Может, заберете их обратно? — робко поинтересовался я.

— А Путина у Вас обратно не забрать? — осведомился в ответ Соколов.

После этой репризы на двадцатой минуте знакомства дружба завязалась сама собой. Хотя у нас по-прежнему непреодолимые разногласия в прочтении Гофмана.

«На всю толщину» понимаю Филиппова и согласен с ним; это огромная радость — прочесть то, о чем хотел написать... Что принес разговор с Шаниным? Имела ли смысл встреча с Каспржаком?

Это были два очень разных разговора. Сейчас история Шанинки придиричливо переписывается ее выпускниками. И, я боюсь, Каспржак войдет в анналы школы, как человек крайне недипломатичный, прямолинейный, принимающий резкие и непопулярные решения. Напротив, Теодор — сакральная фигура, трансцендентное существо, отец-основатель и человек-скала. Но я был «внутри» последние двенадцать лет. При всем моем восхищении Теодором (мы сделали

серию биографических интервью с ним — «Миры Теодора Шанина» — первое опубликовали всего месяц назад), все же нужно понимать, что Каспржак — комиссар, он первый бросится на вражеский бастион, увлекая Вас за собой. И первым получит пулю, закрывая Вас от нее. (Что в каком-то смысле и произошло.) А Шанин — человек, который читает Вам возвышенную проповедь перед отправкой на фронт: благословляет, вдохновляет, отпускает грехи, заглядывает в душу и требует подвига, не уточняя какого именно.

Я пришел к нему домой, мы проговорили четыре часа, обсуждая в основном перипетии мирового исторического процесса и место Шанинки в нем. Он периодически переходил на иврит, тестируя мои остаточные знания, расспрашивал про мою биографию, интересовался моим кругом чтения. Время от времени рассказывал байку из своей фантастически богатой биографии. Я вышел окрыленным. Было ощущение прикосновения к чему-то по-настоящему великому. Отношения сложились практически сразу — какие-то очень личные и совершенно не профессиональные отношения — Теодор всегда подчеркивал, что ему важнее, чтобы я продолжал писать и публиковаться, чем моя работа на благо Школы. С тех пор несколько лет подряд мы встречались пару раз в месяц и говорили об израильской политике, неокантианстве, деле «Альталены», проблемах языковой адаптации мигрантов, крахе университетской автономии, ранних националистических движениях в Польше, студенческой революции 1968-го и многом другом. Почти никогда — о работе. При этом в первый вечер он ничего конкретного мне не предложил. Конкретика — прерогатива ректора.

А ректором как раз был Каспржак, который сидел в кабинете, зарывшись в финансовую, кадровую и административную отчетность, и курил одну сигарету за другой. В отличие от Теодора, который знал меня как ученика Филиппова и социолога-теоретика, Анатолий Георгиевич наблюдал совсем другую сторону моей жизни. Он был рецензентом нескольких наших проектов по исследованиям образования и примерно представлял, чем я занимаюсь в свободное от чтения и письма время. Вернее, чтение и письмо казались ему моим хобби, а проекты — работой. Поэтому и с Каспржаком отношения сложились сразу же, но у другого моего «Я» — того, которое за пять лет в Москве научилось зарабатывать на исследованиях.

«В общем, ситуацию в Школе Вы себе представляете, — сказал Анатолий Георгиевич. — Половина западных спонсоров от нас ушла. Остался только Сорос, но мы даже не знаем, как правильно теперь у него взять денег. Годовой дефицит Школы — больше миллиона долларов. Чтобы сэкономить деньги, я увольняю всех, про кого не могу с уверенностью сказать, что без него Школа рухнет. На Вашем факультете дефицит больше, чем на других. Все осложняется тем, что Крыштановский умер, совместная программа с Вышкой в этом году закроется и Радаев тоже уйдет. Набор рухнет. Есть риск не набрать даже на бюджетные места. Rogozin уже шесть лет тянет деканскую ляжку и умоляет его отпустить обратно в поля. Если Вы согласитесь стать деканом, я не смогу платить Вам нормальную зарплату. Но я могу гарантировать Вам полный карт-бланш. И помощь в привлечении сюда исследовательских проектов, которыми мы будем закрывать дыры в бюджете Школы. При условии, что через год факультет выйдет на самоокупаемость и не проиграет в качестве образования».

Пока выслушивал это предложение, я «стрельнул» у Анатолия Георгиевича сигарету. Через год я уже выкуривал пачку в день, у меня появился первый нервный тик, я испортил отношения с половиной своих знакомых, но факультет вышел на самоокупаемость практически без платных студентов, а еще через год был назван в числе четырех лучших факультетов социологии в стране (http://theoryandpractice.ru/posts/1500-4-luchshikh-instituta-dlya-postdiplomnogo-obrazovaniya-v-oblasti-sotsialnykh-nauk?utm_source=tnp&utm_medium=search).

Чем лучше шли дела на факультете, тем хуже мне становилось физически. Я начал понимать Рогозина. Хотя я никогда так интенсивно не учился, как в последующие три года.

Виктор, благодаря чему Ваш факультет вскоре стал одним из лучших в стране? Вы смогли пригласить новых преподавателей? Вы ввели какие-либо новые курсы?

Я уже припоминал шутку Теодора: в Англии люди приходят и уходят, а институции остаются; в России наоборот. Шанинка – английский университет, она пережила всех своих основателей (кроме самого Теодора). Ее не нужно было делать лучше – ей нужно было дать сохраниться: финансово, административно, политически. Ничем другим мы и не занимались.

Первым делом я кинулся к выпускникам, тем, кто уже успел что-то сделать в науке после выпуска. Я до сих пор ценю куда выше тех, кто откликнулся тогда, в самый критический момент, а не выждал несколько лет, чтобы убедиться – да, все ок, ресурсы нашлись и Школа жива. Но репутация работала на факультет. Туда по-прежнему уходили лучшие выпускники Вышки (включая сына ректора, который предпочел Шанинку родному соцфаку ГУ–ВШЭ). Выпускники 2002-го подхватили курсы ушедших учителей, выпускники 2007-го сделали свою Лабораторию экспериментальной социологии. Начинали преподавать совсем молодые дарования (Павел Степанцов подхватил у Теодора курс по социологии знания уже на следующий год после выпуска). Это был самый молодой социологический факультет в стране. Читали открытые гостевые лекции преподаватели из Кембриджа, Манчестера и Йеля. Приезжали профессора из Германии, Израиля, Франции, Италии. Каспржак не обманул и привел несколько крупных исследовательских проектов НФПК, Министерства, Всемирного банка. Преподаватели даже не знали, что зарплату им платят не из бюджета факультета (там были только долги), а из денег, которые мы зарабатывали на исследованиях. Из них же Школа платила свой ежегодный взнос в Манчестер за валидацию программ – 200 тыс. фунтов.

Я совершенно искренне пытался сохранить все исторические связи Шанинки, включая совместную программу с Вышкой. Поехал к Радаеву. Мы пообедили. Вадим Валерьевич тепло осведомился о нынешних делах в Московской школе, потом дал несколько хороших административных советов и предложил закрыть эту тему: «Моя история в Московской школе закончена. После смерти Крыштановского меня с ней ничего не связывает. Делайте то, что считаете нужным».

Благодаря «ребрендингу» о Шанинке стали больше говорить в СМИ. Началась быстрая медиатизация. Это позволило привлекать больше ресурсов, хотя под угрозой оказалась традиционная камерность и герметичность факультета.

Мы позволили себе расширить пул программ. Тогда же мне пришлось поехать в Манчестер и пробивать новую программу по политической социологии на ректорате. Манчестерский эдвайзер заранее предупредил, что человека до 30 лет британские администраторы (все бывшие профессора) всерьез не воспримут и шансов мало. Нужно было быстро состариться. Мой парикмахер пятнадцать минут выяснял, уверен ли я, что хочу добавить седины на висках. Но программу мы открыли.

Для меня же эти три года были каким-то ночным кошмаром. Вместо трудов по социальной теории, я изучал трудовое и налоговое законодательство. В библиотеке появился всего несколько раз (и то, потому что мы переносили туда совещания из-за нехватки аудиторий). У одного моего манчестерского коллеги в кабинете висит плакат; памятка профессору, ставшему администратором: «First year – stop writing, second year – stop reading, third year – stop thinking». И это очень точное описание постакадемической деградации.

Но тяжелее всего, конечно, резкая ломка всей сложившейся системы отношений. Пока вы хороший студент – на вас сыплются предложения, поощрения и проекты. Когда вы становитесь подающим надежды молодым ученым – вас зовут с лекциями и выступлениями. Когда вы становитесь самостоятельным политическим «игроком» и оператором каких-то скудных академических ресурсов, вы не сразу можете перестроиться – потому что те же самые люди, которые вас когда-то приглашали, включали в проекты, абсолютно иррационально из добрых побуждений инвестировали в вашу карьеру и репутацию, вдруг, готовы идти на серьезные издержки, чтобы эту репутацию подорвать, если ваши действия как-то затрагивают их интересы. Причем, подорвать даже без выраженной пользы для себя, повинувшись тому же иррациональному инстинкту академического мира. Я вдруг увидел совсем другую сторону научной жизни. И понял, что оказался перед выбором. Либо сохранять теплые отношения со значимыми людьми, либо делать то, что считаешь нужным, вести свою игру, чтобы... Чтобы что? Если бы речь шла просто о карьере, я бы, наверное, не предпринимал никаких резких движений. Но в тот момент речь шла о выживании факультета и возможности сохранить нишу, которая мне была дорога не только как память. Хотя это сейчас хорошо говорить – «Мне плевать, что обо мне думают и говорят коллеги. Я еще успею простудиться на их похоронах». А тогда подобная резкая смена отношения воспринималась очень болезненно.

Впрочем, продлился мой кошмар недолго – всего три года. На третий год Каспржак понял, что стратегия, которую он реализовывал (полная автономия Шанинки от всех «крупных игроков», превращение в небольшой «образовательный бутик», вроде дорогих школ МВА) нереализуема в нынешних условиях. И ушел с поста ректора. А я понял, что мне пора. И тоже ушел. Правда, недалеко. Уже через неделю после моего увольнения мне позвонил Владимир Александрович Мау, ректор РАНХиГС (так стала называться Академия народного хозяйства, после того как проглотила Академию госслужбы). Спустя полгода в РАНХиГС появился новый философско-социологический факультет, Центр социологических исследований и проект «Евробарометр в России».

В нашей переписке Вы отметили, что закончили подготовку данных Евробарометра, что позвilit Вам издать сборник «Россия на пороге кризиса: 2012–2015. Опыт социографии». Еще до отъезда в Америку, а это было

в 1994 году, я несколько лет получал толстые тетради Eurobarometer с данными опросов общественного мнения населения стран Европейского содружества. Насколько я помню, эти исследования родились в начале 1970-х. Вы имеете в виду этот Проект или некий иной?

Почти. Дело в том, что Академия (кстати, вместе с Вышкой) — это такой флагман модернизации периода 2000-х годов. В России только крупные прогрессистские университеты готовы инвестировать в масштабные исследовательские проекты. Мы с коллегами (половина из которых были выпускниками соцфака Шанинки, а вторая — философского факультета МГУ) как раз закончили делать новый факультет в Академии (он был построен как «Шанинка в бакалавриате», в итоге за четыре последующих года из 18 набранных на первый курс студентов до первого выпуска дожили шесть). И Владимир Александрович предложил сделать исследовательский центр — площадку для реализации большого европейски-ориентированного исследовательского проекта. Не помню, почему мы остановились на «Евробарометре». Но в нем было достаточно методологической свободы, чтобы включить туда те сюжеты и гипотезы, которые были нам с коллегами теоретически интересны. С тех пор мы делаем этот опрос регулярно дважды в год, в 10 регионах России.

У нас был длительный перерыв. В мои планы входило спросить Вас об одном из Ваших любимых проектов — журнале. Пожалуйста, расскажите о нем.

В мои планы вовсе не входило делать журнал. В России уже есть один хороший просветительно-теоретический журнал — «Социологическое обозрение». И журнал «Социология власти» далеко не сразу стал моим любимым проектом (и уж точно никогда не был моим детищем в полном смысле слова). Боюсь, здесь мне снова потребуется институционально-историческое отступление. Простите, если их становится слишком много.

Когда Каспаржак реализовывал концепцию Шанинки как автономного и независимого «образовательного бутика», я пытался то же самое сделать с факультетом. Мы с Анатолием Георгиевичем назвали этот проект «Школа факультетов» — Шанинка как конфедерация независимых исследовательско-образовательных структур, каждая из которых зарабатывает как может, а внешние (тогда еще остаточные спонсорские) деньги тратятся на поддержание межфакультетских структур (прежде всего, великой шанинской библиотеки). Теодор мне сказал: у тебя ничего не выйдет, нужно искать баланс интересов, а не продавливать свои под видом общего блага. Так и получилось. Проект заблокировали на уровне попечительского совета. Каспржак как премьер-министр, правительству которого выразили недоверие, ушел в отставку. И я счастливо ушел вслед за ним. Абсолютно разочарованный и в академическом сообществе (после «дела Куракина»), и в политической игре на институциональном поле.

Проблема в том, что моя репутация «административно-политического оператора» (в переводе на язык академического сообщества — «законченной сволочи») уже сформировалась. И из всех предложений, которые на меня посыпались, самым заманчивым было предложение Владимира Александровича Мау — сделать «Шанинку в бакалавриате», с британской моделью образования, свободным выбором курсов, «западным контентом», сильной теоретической ориентацией и т.д. Факультет не нужно было делать самокупаемым — мы

договорились, что он будет убыточным первые пять лет. И у меня был полный карт-бланш на формирование преподавательского состава. Я подписался, даже не очень понимая, на что я подписываюсь. А обстоятельства этого щедрого предложения были таковы.

Академия народного хозяйства при Правительстве (вуз «гайдаровской команды») за год до того — на волне медведевского президентства — проглотила Академию госслужбы при Президенте (где оседали старые службисты еще с брежневских времен). Выглядело это как известная картинка де Сент-Экзюпери — удав, проглотивший слона, потому что РАГС с его филиалами был в разы больше АНХ. Владимиру Александровичу нужно было как-то «переварить» это затхлое и чудовищное в своей косности образование. Для этого ему потребовались «новые силы» — команды людей, которые могли бы постепенно заместить рагсовские подструктуры. И мы в целом подходили на эту роль. Новый Философско-социологический факультет должен был вытеснить старую рагсовскую социологию, новый Центр социологических исследований с его «Евробарометром» — заместить старый Центр, занимавшийся обследованиями госслужащих и прочими странными вещами. За Центр я ухватился с интересом (нужно было зарабатывать деньги, в том числе и на факультет), за проект «Шанинки в бакалавриате» — с радостью. Но никого, особенно, «вытеснить» и «замещать» не хотелось. И компромисс был достигнут. Старая рагсовская команда сокращается вдвое, за ней остается их факультет социологии управления и ваковский журнал «Социология власти», мы спокойно делаем новый факультет и Центр.

А дальше повествование переходим в область легенд и мифов. Легенда гласит: Высшая школа экономики как усердный санитар академического леса решила составить черный список журналов, в которых приличному человеку не стоит публиковаться. И многие журналы Академии, унаследованные от РАГСа, попали в этот список из-за стандартных коррупционных схем (брали деньги с аспирантов за публикации, навязывали подписку на журнал, публиковали откровенный бред за деньги и т. п.). И только-только наш Центр и Факультет вышли в какой-то нормальный режим существования, мне позвонил Владимир Александрович и попросил «заняться журналом». Заняться в данном случае означает уволить всю старую команду, набрать новую, не вылететь из ваковского списка и не попасть в «черный». Я не просто не горел желанием это делать — я не знал, как. Мы, конечно, хотели бы и изменить название, и сделать новую концепцию журнала, но... Одно дело хотеть, другое — смочь это сделать. Пока я нашел нужных людей и собрал портфель приличных статей, мы почти год ничего не выпускали.

А полтора года назад, когда со мной случился очередной кризис на тему «какой херней я опять занимаюсь?» нужно было расставлять приоритеты. Я уезжал из страны, пытаясь отбросить все лишнее и оставить за собой что-то, что мне по-настоящему интересно и хоть как-то связано с моими теоретическими интересами. Приоритеты оказались таковы: 1. Шанинка. 2. Журнал. 3. ФСФ. 4. Центр в Академии. 5. Институт городских исследований при мэрии, который мы сделали в 2012 г. (но это отдельная история). Журнал неожиданно вышел на второе место. И действительно, за эти три года мы выпустили больше десятка номеров по актуальным исследовательским темам — социология технологий,

институциональная теория, феноменологическая философия, теория коммуникации, теория практик, исследования сообществ, урбанистика, микросоциология политики, исследования возрастной стратификации и т.п. Сейчас собираем номер по утопическому воображению, на очереди – социология академического мира, исследования правоприменения, социология вещей, теория фреймов. К счастью, все быстро забыли про слово «власть» в названии, сейчас оно носит чисто декоративный характер. Так что я даже рад, что в свое время Мау навязал мне этот проект.

И Вы написали, что несколько недель жили без интернета и прочих благ цивилизации и дописывали книгу по социологии повседневности. Я думаю, что для большей части человечества, в том числе – россиян повседневность и не включает многих благ цивилизации, тем более – Интернет. Как жилось? О чем написали?

Про человечество судить не берусь, в случае с россиянами – это уже не совсем так.

Просто на одной из недавних защит в Вышке, ко мне подошел Леонид Григорьевич Ионин (его книга «Социология культуры» в свое время произвела на меня сильнейшее впечатление, а Куракин из-за нее и вовсе решил уйти из физики в социологию) и предложил написать продолжение «Теории фреймов», но на нормальном человеческом языке для «непосвященных». Что я и сделал. Кстати, наш с Вами разговор о концептуализации смерти у Зиммеля туда вошел, как часть одного из эссе. Спасибо Вам за это.

Отдельная история – Институт городских исследований при мэрии может быть очень интересной. Пожалуйста, Виктор, поподробнее...

Это, в общем, не одна, а несколько историй.

Первая – история десятилетия «прогрессоров». 2000-е годы в России – период безудержного карго-культу и нефтяного государственного модернизма, кульминационной точкой которого стало противостояние (не во всех, но во многих сферах) прогрессистской бюрократии и консервативной интеллигенции. Обычно же все наоборот: революционные интеллигенты требуют вывести страну из застоя, «чтобы все было как в нормальных странах». А консервативные чиновники в стилистике героев Салтыкова–Щедрина повторяют: «защитим, не позволим, сохраним, преумножим». Да? Так вот на памяти моего поколения все было ровно наоборот. Молодые люди в галстуках на высоких чиновничьих позициях говорили: «А давайте иностранцев позовем, а давайте Нобелевских лауреатов сюда притащим работать, а давайте конкурс отгрохаем открытый – на весь мир. Ну, чтобы все как у больших, все как в нормальных странах было». (Можно сколько угодно издеваться над нефтяным карго-культом, но этот прогрессизм – пожалуй, самое ценное, что было в ушедшем десятилетии; хотя многие его проявления действительно курьезны и смехотворны.) А люди в вельветовых пиджаках, джинсах и водолазках отвечали: «Не позволим! Руки прочь! Это наше исконное! Мы за это святое в 90-е годы с голоду умирали».

В академическом мире проблема упрощалась (и одновременно усложнялась) тем, что эта граница пролегла внутри самой системы: на стороне прогресса оказались Вышка и Академия, на стороне «защитим и сохраним» – МГУ и большая часть институтов РАН. А в мире культуры прогрессистские голоса были

в абсолютном меньшинстве — весь этот чуждый модернизм воспринимался как еще одно средство коррумпированной бюрократии покуситься на святое (чаще всего, на здания в центре Москвы и Петербурга). Это было внешнее, а не внутреннее противостояние.

Сейчас все возвращается в привычное русло; эпоха просвещенного авторитаризма закончилась, чиновники и интеллигенция снова поменялись риторикой. Но тогда у всех прогрессистски настроенных интеллектуалов был когнитивный диссонанс. Чиновничество — «чуждый класс», иметь с ним дело, все равно, что продать душу дьяволу, но вторить за друзьями своих родителей «уберите лапы от исконных наших ценностей» было решительно невозможно. Я к тому моменту уже был сыт по горло риторикой постсоветской интеллигенции — узурпацией моральной позиции, склонностью собственную пустоту и бессодержательность маскировать обличительством и морализаторством. Поэтому с легкостью принял сторону прогрессистской бюрократии.

Вторая история — история Москвы. Мы часто говорим, что «Москва — не Россия», но, по моим ощущениям, Москва — это гипер-Россия, ее политическая и пространственная метонимия (такая часть, которая обладает наиболее характерными чертами целого в гипертрофированном виде).

Из-за того, что почти 20 лет у власти находилась одна и та же элита, Москва представляла собой заповедник, идеальный объект для какого-нибудь институционального экономиста — «правила игры» здесь не менялись десятилетиями, успело вырасти целое поколение чиновников, для которых модель неэффективного государственного капитализма была единственно мыслимой. Став мэром, С. Собянин обнаружил, что он ничего не может сделать — система коррупционной солидарности спаяла городские службы на всех этажах — все, от вице-мэра до директора районной художественной школы, чувствовали себя «скованными одной цепью». Поменять правила игры, не поменяв игроков, было невозможно. Началась «модернизация молотом». Городской департамент культуры тогда возглавил Сергей Капков, в прошлом — правая рука Р. Абрамовича и директор-реаниматор Парка Горького. Стоит ли говорить, что он столкнулся с той же проблемой, что и Собянин. И прибег к тому же решению.

Капков через своего советника (и мою хорошую подругу) Наташу Фишман предложил мне «заняться» исследовательским институтом при московском минкульте — собрать команду нормальных исследователей с западным образованием, предложить городу несколько масштабных «долгоиграющих» проектов, в общем, сделать новый институт городских исследований. Его щедрое предложение сильно напоминало предложение В. А. Мау, потому что при департаменте уже был один институт (Московский институт социально-культурных программ) и от меня, по сути, требовалось то же, что за год до того в Академии — провести оценку, понять, есть ли там что-то живое, уволить старую команду, набрать новую. Я сразу предупредил, что после того, как новый институт заработает — я уйду, что для меня это проект на 1–2 года, способ построить еще один постшанинский исследовательский центр в интересующей меня сфере социологии города. Но задача оказалась сложнее, чем показалось на первый взгляд.

Исследовательские институты при городских министерствах на протяжении многих лет выполняли важную задачу — отмывки денег. Их побочной функцией было производство правильных слов, релевантных историческому моменту.

Когда я пришел в МИСКП, я был готов ко всякому, но не к тому, что я увидел. Ежегодный сборник работ исследователей московской культуры был озаглавлен «Культурная безопасность москвичей», официальный сайт института назывался еще характернее — «Русский сход». Риторика основных исследователей представляла собой утонченную смесь цитат из Евангелия, «Протоколов сионских мудрецов», Морального кодекса строителя коммунизма и должностных инструкций. В итоге, из 74 сотрудников через несколько месяцев в штате осталось 4.

Капкову написали открытое письмо с призывом остановить «еврейский фашизм». Появилась серия довольно плохо написанных статей об устроенном мной терроре. Последняя из них завершалась особенно проникновенно: «... Не потому ли новый хозяин Московского института социально-культурных программ Виктор Вахштайн, отныне известный как ликвидатор старой, “отжившей свой век” команды недотёп-культуротников, явно пытавшихся совместить старые православные идеалы с новомодными либеральными веяниями, так любит демонстрировать свою печатку с шестиконечной звездой Давида? Как говорили предки, “по грехом нашим”. Неужели и теперь не вспомним Евангельское: “Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит” (Мф. 12;25)? Так что отныне нам — либо выматываться, куда глаза глядят (коль россияне, значит, в рассеяние), либо уж возвращаться к самим себе — в Православное Самодержавное Царство. Ибо третьего — не дано» (<http://www.russhod.ru/2012/07/%D0%BA%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82-%D1%83%D1%80%D0%B0/>).

Я очень многому научился в первый же год. Я выяснил, как работает «коррупционная солидарность». Директор имеет «законное право» брать откаты с аренды помещения, если она завышена на 30–50% (прежний институт платил 950 тыс. руб. в месяц за особняк в центре Москвы). Мы сразу же отказались от аренды. Исследователи «кормятся» от проектов, а рядовые сотрудники... Спустя полгода работы мне потребовалась доска и флип-чарт в кабинет. Обычно этим занимается завхоз. Но завхоз заболела, мой зам. позвонила в фирму, с которой всегда работал Институт, там сначала спросили, где наш завхоз, потом назвали некоторую сумму. «Дорого что-то», сказал я. Ну ладно, главное, чтобы быстро доставили. После второго звонка в фирме удивились: в смысле доставили? то есть, вам на самом деле доска нужна? настоящая, да? мы обычно работаем по-другому...

В общем, это был насыщенный год. Первое, что мы выяснили — у Департамента культуры не было даже базы данных своих учреждений. Поскольку эта функция возлагалась на отделы внутри департамента (театры, кинотеатры, музеи — это все разные феодальные вотчины). А в некоторых отделах отчеты подведомственных учреждений хранились в картонных коробках под шкафом. Департамент не был даже уверен в том, где именно проходит граница его ведомства — музыкальные школы «зависли» между департаментами образования и культуры.

В целом институт как проект удался. Новая команда сделала несколько громких проектов — «аудит Москвы» (аналогичный аудиту Лондона накануне олимпийских игр 2012-го), мониторинг повседневных практик, исследования общественных пространств, исследования городских сообществ, исследования рутинных форм мобильности... Я ушел, как и планировал, полтора года спустя.

Но команда Института — Алина Богаткова, Павел Степанцов, Иван Напреенко, Кирилл Пузанов — и сейчас делает самые интересные, на мой взгляд, исследовательские проекты на тему городской жизни в Москве.

В доперестроечные годы некоторыми стимулами для написания и защиты докторской диссертации было незначительное повышение оклада исследователя и возможное профессорство для преподавателей, к тому же докторам разрешалась (не автоматически) совместительство. Теперь кандидатская, принимаемая на Западе как Ph.D, уже позволяет занять позицию профессора в российских и зарубежных университетах, а возможности совместительства для каждого, особенно в Москве и ряде крупных городов, практически не ограничены. Предполагаете ли Вы защитить докторскую диссертацию?

Есть ли у Вас видение своей социологической деятельности, активности на ближайшие, скажем, пять лет?

Вы совершенно правы, докторская степень — это атавизм российской академической системы. Если бы сейчас выбор стоял: защита докторской или отъезд на PhD к одному из ценимых мною теоретиков — Дрейфусу, Ло, Латуру, Зерубавелю (увы, половина из них уже на пенсии, а вторая — не берет аспирантов), то решение было бы очевидно. После «Куракингейта» мое отношение к диссертационной машинерии несколько поменялось и, что-то мне подсказывает, что это новое сильное чувство взаимно. При этом я допускаю: через какое-то время докторскую все же придется защитить — просто чтобы продолжать прикрывать свои проекты и институции — но с моей стороны это будет акт небывалого конъюнктурного цинизма. Пока отбиваюсь.

Что касается профессуры... Есть только один вуз, в котором я бы хотел быть профессором. И, к счастью, это желание тоже оказалось взаимным. После ухода с деканства новый ректор Шанинки — Сергей Зуев — предложил мне остаться на профессорской позиции. За что я ему ужасно признателен.

Нет, никто не видит себя через пять лет. А если видит, то это видение следует считать оптической иллюзией. Батыгин в своем последнем интервью сказал: если буду жив, буду заниматься тем, чем занимаюсь сейчас или тем, что сочту нужным на тот момент. Зиммель в конце жизни признался: «В сущности, до 30 лет я был чудовищно глуп». До 30 лет он заложил основы теории социальной дифференциации. Но никто не застрахован от такого авто-вердикта. И слава Б-гу.

Виктор, после получения этого ответа мне казалось логичным закончить наше интервью. Но Вы прислали мне на «закуску» рукопись книги, пока имеющей название «Восприятие реальности. К социологии множественных миров». Книга небольшая, и я уже внимательно ознакомился с ней; тема и стиль делают чтение легким, даже захватывающим. Принимая во внимание сюжеты и Ваши к ним комментарии, книга при нормальной ее раскрутке может вытеснить с рынка последние истории Акунина. Какое место эта книга занимает в Ваших теоретических и литературных работах?

Спасибо на добром слове. Но, если честно, у меня нет готового ответа на Ваш вопрос. Когда я полтора года назад уехал, я поначалу мог читать только художественную литературу — Ч. Мьевиля, Н. Стивенсона, Дж. Барнса, Д. Митчелла — и только потом вернулся к размеренному социологическому чтению. Наверное, это как-то сказалось на стиле письма (при том, что привычный для меня жанр

работы — это хардкорная неудобочитаемая теория). К тому же, главным источником творческого принуждения — то есть, людьми, которые все время донимают вас вопросом: где текст? текст где?! — на тот момент были мои друзья из научно-популярного проекта «Постнаука». Им я и отдал для промежуточных публикаций какую-то часть будущей книжки. Поэтому когда Леонид Григорьевич предложил мне написать что-то на популярном человеческом языке, черновики уже были. Получился социологический детектив — расследование влияния одной философской идеи на наш современный способ мышления

Но следующая книжка, которую я должен отправить Олегу Паченкову в конце этого лета (рабочее название: «Пересборка города», о ресурсах акторно-сетевой теории в городских исследованиях), будет все такой же нечитаемо теоретической. И следующая за ней (запланированная пока на 2017 г.) — «Действующие вещи. Исследования по социологии материальности» — тоже.

Года через два после начала этого безумного институтостроительства у меня в очередной раз случился кризис — зачем я все это делаю и не пора ли запереться в библиотеке? Евробарометр вышел на проектную мощь (еженедельно мы публиковали данные исследований в своей колонке в «Ведомостях», давали СМИ по три-четыре комментария в неделю), Институт, Центр и Журнал заработали в штатном режиме, в Шанинке я продолжал читать свой курс по теориям повседневности. Но административно-политические игры не доставляли никакого удовольствия. Это все интересно только на первом этапе, когда есть задача собрать из людей, идей и ресурсов какое-то новое институциональное единство. А дальше — только маневры уклонения, удержания и приращения. Весьма унылые маневры. Я перестал читать и писать, даже почту открывал с потаенным ужасом. На лице Паши Степанцова — блестящего теоретика-витгенштейнианца, а по совместительству главного аналитика во всех моих проектах — явственно проступили черты экзистенциальной тоски. Я прокручивал в голове разные сценарии бегства на одну из интересующих меня PhD-программ по истории науки.

И тут вмешалось провидение. В своей колонке в «Ведомостях» мы публиковали провокационные данные — о том, что самые успешные люди в стране уже давно спланировали пути эмиграции для себя и своих детей, о растущем недовольстве политической ситуацией, о том, что треть страны (а в Москве и Дагестане — почти половина) считают полицейских источником угрозы своей жизни и благополучию. Но написано все это было довольно тяжелым социологическим языком и ничьего внимания не привлекало. А в «Евробарометре» есть блок вопросов, посвященных измерению уровня субъективного благополучия (так называемый «индекс счастья»). Появился он там из-за «парадокса Истерлина»: американский экономист Истерлин доказал, что нет прямой корреляции между счастьем и доходом. Человек может много зарабатывать и быть совершенно несчастлив, и, наоборот (на самом деле, там все не так просто — счастье это пороговая величина — я сейчас утрирую). По Истерлину, со счастьем сильнее всего связаны образование и состояние в браке. Более удовлетворены жизнью люди образованные и женатые / замужние.

Мы проверили эту гипотезу на наших массивах и обнаружили, что в России эта корреляция тоже есть, но со знаком «минус» — женатые люди более несчастны. (Равно как и более образованные.) Мы жизнерадостно описали эту находку в «Ведомостях» на понятном людям языке: <http://www.vedomosti.ru/>

opinion/news/14166681/schastlivy-porozn Статья разлетелась по интернету. На следующий день позвонил Владимир Александрович Мау и со смехом сказал, что статья привлекла внимание «в верхах». Кстати, сказал он, поздравляю — вы в кои-то веки написали что-то понятное, моя жена положила мне газету на стол со словами: «...ваши социологи доказали, что в России лучше быть вдовой, чем незамужней». Мы с Пашей посмеялись и улетели отдыхать в Испанию.

Владимир Александрович перезвонил через час после приземления. Уже никакой иронии в голосе. Коллеги, я не понимаю, что там в Администрации происходит, но вы даже не представляете, кто ополчился на нас из-за этой статьи. Говорят, Академия за государственные деньги разрушает институт семьи. О чем ваша следующая колонка? Я ответил, что о склонности к риску в разных социальных стратах (этот блок вопросов в «Евробарометре» мы придумали, чтобы проверить гипотезу Канемана). Пришлите мне, пожалуйста, — попросил Владимир Александрович, — звучит зубодробительно академично, не докопаются.

Через 12 часов пришел ответ из Администрации Президента. «...вот опять упираемся в вопрос трактовок... я бы не сбрасывал со счетов, что в отличие от западных стран, наше государство является в более высокой степени социально ориентированным...». Глуповатая пошлость (тогда еще не ставшая общим местом даже в СМИ) и чудовищный русский язык.

В общем, мы закрыли линейку публикаций. Мау принял весь удар на себя в Администрации. Потом ему звонил полковник из известного ведомства и выяснял, в курсе ли он, что я — член попечительского совета «Голоса». Когда я вернулся, со мной тоже поговорили. Было лето 2013-го, но уже стало понятно, что страна меняется, «золотые двухтысячные» моего поколения закончились. За время отдыха в Испании я присмотрел небольшую и дешевую (из-за жуткого экономического кризиса в Южной Европе) квартиру. Сказал Владимиру Александровичу, что уезжаю — читать, писать, думать. Он повел себя в высшей степени достойно: отказался закрыть проект (просто рекомендовал какое-то время не высываться с публикациями), настоял на продолжении работы всех наших структур. А я с семьей уехал в Испанию.

Так что теперь я учусь жить на несколько стран. Около полугода провожу в Испании, полгода — в других местах (включая Москву). Благодаря тому, что Школа архитектуры и образования (SEED) Манчестерского университета дала мне “honorary fellow” и открыла доступ ко всем своим библиотечным ресурсам, надеюсь больше времени в этом году проводить в Англии.